

АРТЁМ КРАЧОВ

**ПОСЛЕ
ЗАВТРА**

Артём Краснов

После завтра

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42006925

ISBN 9785449649324

Аннотация

Это сборник историй о ближайшем будущем – о том, что нас ждет уже завтра и сразу после. В каждой из них есть технология из будущего, иногда фантастическая, иногда без пяти минут реальная. Сборник отчасти напоминает сериал «Черное зеркало», хотя прямых заимствований нет. В центре внимания: интернет, сознание, проблема бессмертия, виртуальная реальность.

Содержание

Когеренция	5
Stoneface	42
Долгожитель	57
Конец ознакомительного фрагмента.	87

После завтра

Артём Краснов

Дизайнер обложки Лилия Краснова

© Артём Краснов, 2019

© Лилия Краснова, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4496-4932-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Когеренция

Время чтения: 45 минут

#перенос_сознания

Я уже собирался ко сну, когда в коттедж зашел сам Виноградов. Дверь я не запираю. Он коротко стукнул, шаркнул ногами в прихожей и уселся напротив. От его полушубка пахло морозом.

– Ложитесь? – тепло спросил он. – Вадим, завтра вы станете как Юрий Гагарин, а? Как первый человек в космосе.

В тусклом свете ночника морщины на его подвижной физиономии напоминали желтоватую лаву, через которую просвечивали живые капли глаз.

Я не ответил Виноградову. «Гагарин» был риторическим. Профессор смотрел на меня, и лицо его переваривало какую-то веселую мысль.

– Я так долго ждал... – сказал он, и нос, мимическая ось виноградовского лица, мечтательно посмотрел в темное окно. – Вы себе не представляете, с каким трудом удалось пробить разрешение на натурный эксперимент.

«Принесло же тебя на ночь глядя...», – думал я, растягиваясь на диване.

– Вам нужно хорошенько выспаться, – сказал Виноградов. – Собственно, я пришел вам это сказать. Ваш разум дол-

жен быть в идеальной форме. Волнуетесь?

– Нет, зачем? Мы хорошо готовы.

Он вздохнул:

– А я волнуюсь. Будут люди из министерства. Поэтому вам нужно хорошенько отдохнуть, хорошенько! – мне казалось, профессор меня вот-вот обнимет. – И выкинуть все из головы.

Я ожидая, что он уйдет также внезапно, как нагрянул.

Виноградов подсел к вытянутому деревянному столу в центре зала и принялся разглаживать небольшой листок бумаги. У профессора не было правой кисти, но уцелевшая левая рука была сильной, как у гиббона. С ловкостью наперсточника он извлек из кармана жестяную коробочку с табаком, открыл ее ногтем большого пальца, указательным и средним кинул на бумагу щепотку, а затем невероятным образом смастерил папиросу. Потом пошарил в кармане, извлек зажигалку и, когда я готов был возмутиться, опустил руку.

– Я вам завидую, – сказал он, откладывая зажигалку. – Вы можете заснуть. А мне что делать? Тазепам не помогает.

Я пожал плечами.

– Ладно, не буду вам мешать. Вы точно сможете выспаться?

– Александр Иванович! – накалился я. – Пока вы не пришли со своим Гагариным, я мог бы выспаться.

Как побитый пес, Виноградов подхватился и зашагал

к двери, оставив на столе и папироску с щепоткой табака во-
круг. Что за человек! Дурное раскаяние взяло меня за горло.

– Я вам завидую! – услышал я из прихожей. – Спать в та-
кой вечер! Выкиньте все из головы, Вадим, она нужна нам
ясной.

«Да иди уже!»

Любое раскаяние по поводу Виноградова длилось недол-
го.

Я жил в отдельном коттедже, балкон которого выходил
на тихое озеро. На втором этаже было две отдельные спаль-
ни, но приступ странной клаустрофобии или одиночества
сгонял меня вниз, в гостиную. Здесь я спал, подогнув ноги,
на гостевом диване, никогда не выключал в прихожей свет,
а дверь не запирали из какого-то суеверия. Ворваться ко мне
мог только Виноградов. Но замком его не остановить.

* * *

Утром в день эксперимента я отправился в тренажерку,
чтобы не ломать привычный график. Сегодня среда, значит,
займусь ногами.

В перерыве пришла Алена и взяла у меня кровь. Жгут,
работа кулаком, укол. Темная статус-строка заполнила про-
бирку.

– Сейчас лучше не заниматься, – сказала Алена. – Голова
закружится.

– Я привык.

Меня проверяют на алкоголь и запрещенные препараты с такой маниакальностью, словно на территории закрытой базы можно достать хоть что-то запрещенное.

У меня странная профессия. Я могу быть в каждом из вас, а вы даже не узнаете об этом. Они называют это когерентностью, переносом сознания. Мне больше нравится слово погружение – оно точнее отражает то, что я чувствую. За пять лет в институте наука надоела мне до такой степени, что я легко принял роль солдата, не желающего думать ни о чем лишнем. Мне нравится моя ограниченность. Я знаю только то, что мне нужно знать. Я – танкист, которому важно лишь расположение рычагов.

В мою кровь вводят препарат, и я засыпаю. Сознание замыкается на сознание другого человека. Я словно просыпаюсь в нем, растерянность длится секунду, иногда несколько минут, но регулярные тренировки позволяют меня брать контроль над клиентом почти мгновенно.

Я вижу его глазами и чувствую его кожей. Его мысли текут через меня. Они смешат, а чаще пугают. Каким дерьмом забиты наши головы, когда мы думаем, что в них никто не смотрит.

Через меня прошли десятки добровольцев. Я заставлял их брать из колоды определенную карту или писать последовательности чисел. Под наблюдением дюжины камер и аспирантов Виноградова я заставлял человека рисовать цветы

или рвать внезапно лист бумаги. Моя работа – дергать рычаги чужой воли.

Меня считают незаменимым и хорошо платят. Этого достаточно. Раньше эта работа мне нравилось, я даже считал ее лучшей работой в мире. Но сотни однообразных тестов превратили ее в череду повторений, в бесконечный поток когеренций и декогеренций. Я натягиваю чужую личину с той же скукой, как старый водолаз медленно и зевотно зашнуровывает, затягивает свой костюм. Я здесь ради денег. Кроме того, мне некуда идти, потому что грифы секретности будут кружить надо мной, как настоящие грифы, куда бы я не подался. Я не смогу жить спокойно зная, что кто-то может подселиться в мою голову также, как я.

Подопытным, в которых я вселяюсь, говорят, что они участвую в психологическом тесте. Физически они находятся в здании московского института, за тысячи километров от нас, но расстояние в таких делах не играет роли. Я заставляю их брать нужную карту или рисовать на листке заранее оговоренную фигуру, известную только нам. После каждого теста психолог выясняет, что люди думают о своем выборе.

Подопытные всегда находят убедительные объяснения выбору, который не делали. Человек не допускает мысли, что совершенное им может быть кем-то навязано, возникнуть из ниоткуда. У них всегда наготове причина. Как-то я заставил худого безработного с перебитым пальцем, неловко держа карандаш, нарисовать слона. Его удивление дли-

лось недолго. «Слон... – бормотал он. – Всегда хотел попасть в Индию, вот и нарисовал...»

Подсуньте человеку любое безумие, но сделайте это деликатно, и тогда он сам найдет ему оправдание.

* * *

Технический брифинг назначали на три. Задание всегда сообщают в последний момент.

В зале для презентаций с проекционным экраном и полумесяцем длинного стола собралось человек семь. Троишя не знал. В центре сидел рыхлый полковник, по усталости и скуке на лице которого я понял, кто здесь главный. Остальные члены комиссии непроизвольно сгрудились к нему, и даже шеф, наш добрый занудный бюрократ Осин сидел вполоборота к полковнику, словно желая что-то сказать. Полковник не реагировал, Осин колотил авторучкой палец.

Я планировал сесть с краю, но Виноградов втянул меня в самую середину, под прицел полковничьих глаз, которые не смотрели на меня, но видели. Я чувствовал это.

– Позвольте представить лучшего из наших испытателей, Вадима, – Виноградов коснулся моего плеча. – Сегодня он выполнит когеренцию с человеком, который не предупрежден об эксперименте. Это первые натурные испытания в нашей практике.

Комиссия разглядывала меня с любопытством, как обе-

зьянку. Полковник был чем-то недоволен и смотрел на стол. Его фуражка лежала рядом и смотрела на меня кокардой.

– А теперь внимание, – Виноградов подошел к проекту. – Наш клиент.

Я обернулся к экрану. На нем было фото и анкетные данные.

«Начался в психушке праздник», – пробормотал я, как оказалось, достаточно громко.

– А что вам не нравится? – удивился Виноградов. – Вы гляньте, каков.

Он хотел казаться веселым. В движениях Виноградова, если он нервничал, была сжатая пружина, которой он старался не дать слишком много свободы.

– Мне все нравится, Александр Иванович, – сказал я, кивая на экран. – Но почему такой? Знаете, с таким работать, как грязную пижаму надевать.

Некоторые из членов комиссии восприняли мои слова слишком серьезно. По залу побежал напряженный шепот. Полковник кашлянул, словно собирался что-то сказать.

На экране сменяли одна другую любительские фотографии. В моем клиенте угадывался будущий бомж. Поношенный свитер обвисал на нем, как флаг. Человек был небритым, худым и жалким, словно внезапно постаревший юноша. Но больше всего меня возмутили глаза, бледно-голубые глаза с покрасневшими белками. В них были тоска и смирение, доброта и похмельная покорность судьбе. В каждой его позе

было что-то христианское.

– Простите, – обратился ко мне полноватый член комиссии с лицом без бровей, – для вас имеет значение... Скажем так... социальный статус клиента? Как я вижу, – он кивнул на папку перед собой, – вы опытный испытатель. Вам доводилось работать с разными людьми.

– Да, приходилось. Потому и знаю таких. Я чувствую все, что чувствует клиент. Если у него цистит или мигрени, я буду мучиться вместе с ним...

– А если во время задания вам оторвет ноги? – впервые заговорил полковник. – К чему весь этот цирк, если вас может остановить мигрень?

Виноградов от волнения начал хромать. Он прошел между мной и полковником.

– Шутит он, – заговорил Виноградов. – Вадим у нас немного голубых кровей, выпускник МФТИ, поэтому предпочитает клиентов... более интеллектуальных, да?

– Да, – ответил я, с вызовом глядя на полковника, но взгляд того был неуловим. Он лишь буркнул:

– М-фэ-тэ-и...

Мне захотелось расспросить этого военного упыря, что же в аббревиатуре МФТИ вызывает в нем такую неприязнь. А может быть, он когда-то хотел стать прилежным студентом, да не хватило мозгов? Виноградов поспешил оттянуть внимание на себя. Он взял лазерную указку, и на щеке клиента появилась оранжевая точка.

– Григорий Иванович Куприн, сорок три года, женат, двое детей.

Анкетные данные нужны были членам комиссии, но не мне. Как только произойдет когеренция, я буду знать о Григории Ивановиче больше, чем кто-либо.

– Куприн – лучший кандидат из списка, – продолжал Виноградов. – Слабохарактерный, не уверенный в себе, подверженный влияниям. Работает мастером-сантехником в УК «Медведица» последние восемь лет. Пассивен, склонен к алкоголизму.

Понятно, думал я. Идеальный кандидат в диверсанты. Сантехник с грустными глазами придет в нужный дом, оставит динамит и также незаметно удалится. «Может быть, благодаря нам не будет новой войны», – любил отвечать на мои сомнения Виноградов, уверенный, что наука служит исключительно гуманным целям.

Я еще раз посмотрел на человека, с которым (а вернее, в котором), мне предстояло провести следующие часы. На своем участке этот Григорий Куприн наверняка был любимцем старушек: доброта и алкоголизм – беспроигрышное сочетание. Он пил и нырял в дерьмо, и крючковатая рука совала в грязный карман пятьдесят рублей благодарности.

– Ваша задача, – Виноградов обратился ко мне, – в состоянии когеренции с Куприным заставить его отказаться от алкоголя на один вечер. Проще говоря, заставить его не пить.

Видимо, лицо у меня стало ироничным, потому что мор-

щины Виноградова свирепо затряслись:

– А что? Вы считаете, это просто?

Я был уверен, что меня попросят выполнить какой-нибудь трюк в духе вояк. Доставить сверток на крышу здания, забравшись на него по балконным перекрытиям. Пронести чемодан через рамку металлоискателя в аэропорту.

Не пить? Ерунда какая-то. Буду сидеть и не пить. Теперь понятны их настойчивые проверки на алкоголь. Им было важно, чтобы моя возможная тяга к алкоголю не влияла на результат.

– Не пить – пассивное действие. Не пить я смогу, – ответил я.

– Надеюсь, – услышал я негромкий голос полковника.

Виноградов дал вводную. Я не должен ломать планы клиента и выдавать свое присутствие, не должен использовать силовые приемы, вроде приковывания себя наручниками к батарее и тому подобного. Нужно вести себя естественно и не употреблять алкоголь.

* * *

– Гриша, ну че ты телишься? Запирайся, выступишь, – рыкнул Шахов, когда мы заходили с мороза в длинный коридор управы с табличкой «УК Медведица».

Когеренция прошла успешно. В глазах у меня прояснилось, как после ослепления вспышкой. Лицо Шахова, наше-

го сварщика и монтажника, мелькало перед глазами.

– Гриша, ты че? – он подхватил меня под локоть. – Сердце?

– Да... прихватило, – соврал я, держа рукой место под телогрейкой, где неровно (явная аритмия) билось сердце моего клиента.

– Сейчас, сейчас мы тебя подлечим, – пел Шахов, тяжело ступая по коридору в своих прожженных и стоптанных сапожищах. – Сейчас будет двадцать грамм для ренессанса.

Позади стукнула дверь, и я увидел Костю. Молодой и здоровенный, он работал в управе с полгода. От Кости валил розовый как он сам пар, оседавший инеем на вышорканном воротнике. Хороший парень, этот Костя: грубый, зато не боится никого, даже Шахова.

– Взял? – поинтересовался я, задвигая щеколду.

– Только сало, – ответил Костя с глупой гордостью. – А у тебя?

– Есть, – похлопал я телогрейку. – Ладно, захоть.

– Иваныч, честное слово, пустой, – оправдывался Костя. – В аванс проставлюсь.

Шахов с Костей свернули в подсобку. Я пошел дальше по коридору, где в самом углу была желтая перекошенная дверь туалета. Замка не было, и слесари перестали ее закрывать, нарочно оставляя щель, чтобы все видели – занято. Администратор Вера этого не одобряла, но сейчас в управе не было никого, ни ее, ни бухгалтера Инги Витальевны –

у Шахова чутье, когда можно.

Я постоял у двери, помялся. Проклятый простатит или что оно там... Вспомнил недавние мучения, словно выщипываешь из себя горсть битого стекла. Оставлю это удовольствие... Выпью, легче пойдет. Я притворил дверь плотнее, чтобы не воняло.

Окна подсобки заложены кирпичами, и свет давала желтоватая лампа, висящая на алюминиевом проводе. Здесь хранились инструменты и трубы, а по вечерам устраивались небольшие посиделки. Хорошее место: сыроватое, зато не проходное.

Максимыч – так мы звали Шахова – раскладывал на столе две газеты, делая их внахлест для надежности. После смены Максимыч суров и неразговорчив. Он весь сморщился, стянулся, ушел в черную дыру своего лица, изъеденного усталостью и сварочной пылью; остались от Максимыча лишь командирские усы с торчащей папироской и грубые руки, вымытые дешевым стиральным порошком, от которого кожа становится белесой, а линии жизни – особенно черными.

– Сейчас все будет эпистолярно, – щурился он от дыма, доставая Карла.

Карл – швейцарский нож с отверткой и плоскогубцами. На его алюминиевой рукоятке – маленький белый крестик на красном гербе. Отличный инструмент, вечный. Карлу было 17 лет – по крайней мере, столько он жил у Максимыча, напоминая об одной досадной ошибке в его жизни. Карл хоть

и был снабжен плоскогубцами и отверткой, железа в своей жизни не пробовал: Максимым не давал открывать им даже пивные бутылки («Тебе подоконников в конторе мало?»).

Короткое лезвие Карла чеканило полукруглые кусочки колбасы. Хороший мужик, наш Максимыч. В такие моменты я смотрел на него с теплом, как сын на отца, мастеращего лодку, хотя разница у нас – лет десять, не больше. От Максимыча и его грубых рук исходил дух основательности, которая была его чертой и в работе, и в отдыхе. Не суетливый он, этот Максимыч, а главное, не строит из себя бог весть кого. Вот он сейчас трезвый и злой, и это видно по его лбу, который наползает на глаза и ест их двумя мрачными тенями. Но это – потому что трезвый.

Костя сполоснул стаканы из бутылки. Остатки воды он расплескал по некрашеным чугунным батареям, сваленным вдоль стены. Я полез во внутренний карман телогрейки.

– Только так, мужики, – вытащил я ноль-семь и водрузил в центр натюрморта. – Да и то случайно. В седьмом «А» дали...

Я рассупонил ватник и вытянул ноги. От ледяного пола веяло промозглостью, сбоку жарил старый обогреватель.

– Седьмой «А» по Обухова или седьмой «А» по Комсомольской? – уточнил Максимыч.

– По Обухова. Там как получается: стояк греет, а радиатор холодный, вернее, не холодный, а как бы...

– Тихо! – оборвал Максимыч. – Не девальвируй интригу.

Потом расскажешь.

Костя уныло смотрел на бутылку. В Косте – килограммов сто. Бутылку он выпивает с утра, для разгона.

И тут у меня подступило. Пить нельзя. Нельзя пить и баста. Какая штука выходит глупая. Главное, как сказать об этом Максимычу – он и в табло дать может. Да пусть лучше даст. Неудобно как-то.

Сам я хоть робостью характера не отличался, но этот Григорий Иванович налип на меня своим рыхлым телом, и от одной мысли, что нужно отказать Максимычу, лицо мое обносило холодом. Холод был вокруг, я готовился сесть с ледяную воду, я знал, что другого пути нет, это вызывало во мне животный ужас. Я сидел неподвижно. Я парализовал себя, чтобы выиграть время.

– Ты чего? – устало и нежно шевельнул отворот телогрейки Максимыч. – Опять мотор барахлит?

– Ага, – я снова взялся за грудь, сбив фуфайку и сморщившись. – Не гожусь я сегодня...

«Не поверит», – мелькнуло в голове. Никогда не жаловался, и тут вдруг...

Я лгал не кому-нибудь, я лгал Максимычу, а Максимыч ужас как не любит всей это подковоерщины. Да имел ли я право?

Давай, Гриша, решайся, раз, два, три... Гриша, либо сейчас, либо никогда. Сказал «нет» и все. А дальше будь что будет. Получишь от Максимыча его фирменный взгляд, чер-

ный взгляд из окопов его темных глазниц. Получишь – ну и что? Терпи и живи дальше. Раз, два, три...

Так ведь не отстанут... Я Максимыча знаю. Ну-ка, взял себя в руки, дрянь такая, и говори: не буду. Как в армии умел: не буду и все. Хоть режьте, не буду.

Нет, не идет. Не идет. И выпить тянет, аж руки трясутся. Если не пить, что тогда? Домой?

В голове поплыло утро, и Машка у зеркала, дочь моя, с ее проколотой губой. Вот дурочка! «Папка, ты у меня классный, но ничего не понимаешь в жизни, потому тебя и обманывают», – чмокнула в щеку и убежала. А Верка орет: «Что ты ей не скажешь?». А я черт его знает, что сказать. Сам в юности волосы покрасил... А Машка хорошая, глупая еще просто. Меня ни в грош не ставит, с каким-то подростком связалась, как с цепи сорвалась, дурочка...

Гриша, не отвлекайся. Гриша, пора. Самое тяжелое в моей работе – ломать, ломать себя через колено.

– Мужики, я с вами посижу, а пить не буду... Не надо мне... – сказал я быстро.

Костя оживился:

– Ну, жаль... – протянул он. – Давай, Степан Максимович, наливай. Мне бежать скоро.

– Ты погоди, салага, – оборвал Шахов. – Ты че, Гриша, на работе утомился? Не ел, поди, ничего? Смотри у меня... Мало нас, настоящих, осталось. Давай-ка двадцать капель для инаугурации.

Он поднял пустой стакан. На клейком стекле отпечатались пальцы.

– Нееее... – остановил я. – Не могу сегодня. Верке обещал, а тут еще сердце... Ну, прости, Максимыч.

Я застыл, внутренне остановился, как человек, ожидающий удара сзади. Я смотрел не на Максимыча, а чуть наискосок, на сваленные у дальней стенки чугунные радиаторы, и лицо Максимыча чернело справа, покачиваясь. Надо смотреть в глаза, но стыдно, ой как стыдно!

– Как знаешь, – сказала лицо.

Максимыч пригладил рукой тонкие свои, черные волосья, облепившие голову, как тина, и перевернул мой стакан.

Обиделся? Вроде не обиделся. Не поймешь.

А лучше бы обиделся. Легко они меня как-то на берег списали... Хотя это неплохо... Нужно терпеть, терпеть...

Не люблю подводить людей, а уж врать – последнее дело. Да кому врать? Максимычу! Не умею я врать. У меня на лице все написано. Я даже Верку-то провести не могу, а тут Максимыч.

Стыдно, очень стыдно. Сам не люблю, когда кто-то за столом не пьет, жеманится, ну, точно брезгает. Не одобряют у нас этого. Если ты болезный или при смерти, так лежи дома и не баламуть мужиков. А если уж они тебя приняли, носом крутить – паскудство сплошное.

Я снова взялся за сердце, сморщился и тут же плюнул – актер-то из меня никудышный.

Максими́ч подержал в руках бутылку, утер ее рукавом и улыбнулся этикетке. Он в этом толк понимает. Он во всем толк понимает. На черном лице заблестели сметливые глаза.

– Ну что, Костян, бумсик?

– Давай, – поддержал молодой.

А меня как будто нет. Максими́ч этого Костю не любит, а тут – ну как с сыном возится. Бумсика предлагает – а бумсик, это наше, жэковское, не для посторонних... Что я, ревную что ли? Ну, Гриша, дошел ты до таких мыслей на почве трезвости... Проще надо быть.

Я отсел вполоборота и закурил папиросу. Лучше Максими́ча бумсик не делал никто. Это рецепт он привез с северов, где работал когда-то.

А как Максими́ч делал бумсик – загляденье. Не отводя от Кости взгляд, ловко, как фокусник, он вытянул откуда-то справа початую двухлитровку пива. Глаза его заговорчески смеялись сквозь табачный дым. Пожевав папиросу, Максими́ч поднял пустой стакан на уровень глаз, и взгляд его стал сверлящим – такой бывает у наших лаборантов там, в виноградовой лаборатории, когда они отмеряют нужное количество реагентов. Водка полилась ровной струйкой, холодным и вязким глицерином. Максими́ч налил грамм пятьдесят, бережно отставил бутылку, а потом аккуратно влил туда пива на треть. Затянувшись, он отложил папиросу в старую банку из-под сельди, закрыл стакан своей огромной ладонью и резко встряхнул, ударяя дно о вторую ладонь. В стакане

забурлило, и поднялась густая пенная шапка – бумсик.

– Пей живее, – протянул он стакан Косте. – Пей, пей, пока эйфория не вышла.

Костя в несколько глотков смял пену и замер, прислушиваясь к ощущениям.

– По вкусу – шампанское.

На вкус бумсик изумителен – никакого жару, только свежесть во рту. Пьешь и легче делаешься, невесомей... А Костя заглотив и сморщился даже – дурак.

– Это что, – Максимыч принялся за вторую порцию для себя. – Это что... Мы вот под Уренгоем стояли месяц. Лагерь там был, поселок сварщевский. Представь, десять мужиков, слесари, трактористы... Мороз – минус тридцать восемь. На всю братию – ноль тридцать три.

– И как? – спросил Костя, обмякая.

– Как, как... В нос закапывали.

– Водку что ли?

– Водку. Запахи с тех пор не чувствую. Но в профессии говномеса это даже к лучшему. Колбасу чувствую – это главное.

Хлоп – бумсик выдавил пузырястым сводом ладонь Максимыча, стакан описал дугу, и Максимыч стер остатки пены с усов. Вот Максимыч правильно пьет, с пониманием. На Максимыча посмотреть приятно.

Они взялись за колбасу. Ели медленно, как барышни шоколад, смакую ее по кусочку. Колбаса была дешевая, с огром-

ными глазками жира и ломкой оболочкой. Она хорошо пахла. Мне хотелось есть – с двенадцати не ел ни грамма, только курил. В этом доме, семь «А», еще и сливы забило, их-то в заявке не было, но не бросать же людей в беде. Пришлось за шнуром бегать, там не до обеда, мат-перемат, зато дело сделано и бутылка с собой. А все же стыдно колбасу на сухую брать, точно воруешь. Люди-то для дела пользуют, а я что – жрать пришел?

– Жаль, что я Верке обещал... – вырвалось у меня. – Трезвым сегодня надо быть, дочь старшая придет...

– Такое вообще нельзя обещать никому, – заявил Максимыч, расправляясь и дыша. – Тем более Верке. Ты уж не обижайся, Гриша. Я эту жизнь повидал. Я авиационный двигатель вот этими руками собирал. Я в дерьме по колено варил, и в плюс и в минус сорок. В России алкоголь является неотъемлемой частью всемирной культуры, как Бетховен и Ландау.

– Нифига подобного, Максимыч, – вмешался Костя, вытащив свои сигареты с фильтром и подкуривая. – Я могу пить, а могу бросить. Могу не курить вообще. Много раз пробовал. Все от человека зависит.

Максимыч, на лице которого к глазам и усищам добавилась теперь паутинка румянца на щеке, наклонился через стол:

– Ты, Костя, не обижайся, но человек ты анизотропный, и рассуждаешь аналогично.

– Какой? – напрягся Костя.

– Тихо, тихо, – Максимыч прижал набухший Костин кулак и спокойно продолжил. – Анизотропный. И с нашими, и с вашими. Сегодня с нами пьешь, а завтра в элитке шабашишь. Отсюда у тебя известный дуализм: пить или не пить, водка или бургунди. У тебя еще кристаллическая решетка не оформилась, понял? Ладно, пей вот.

Он сунул Косте взбеленный стакан. Бумсик сегодня шел замечательный, легкий и пузыристый, как коктейли в парке Горького. А то, бывает, пиво выдохнется и никакой пены. Обычный ерш.

Максимыч налил себе, встряхнул. На тяжелом лице бывшего сотрудника авиационного НИИ, а теперь сварщика первой категории Степана Максимовича Шахова обмякли складки. Я любил, когда он выпивал и становился спокойным, твердым и говорил удивительные вещи.

– Антиалкогольные кампании придумывают кабинетные крысы, которые пользуются теплом, которое я им подвел, и говорят мне, чем занять мой досуг, – говорил он. – Если сию крысу взять за сытые ляжки и отправить в Уренгой, на трассу, если обрядить ее в робу и маску, дать ей электродницу и магнит, а потом дать заварить шов с допуском два миллиметра, да в минус сорок пять, я погляжу, как эта крыса запоет. Мы находимся на территории, где можно не жить, а выживать, и это нужно актуально учитывать.

Костино сало лежало на столе, завернутое в тонкую бума-

гу. Я взял полукруг колбасы, поднес к носу и положил обратно. Потом быстро запихал в рот и принялся жевать, поражаюсь собственной удали. Колбаса таяла во рту.

– Научно доказано: алкоголь не согревает, – заявил я. Вид Максимыча с хмелеющим носом действовал на меня, как водка.

Максимыч принял вызов.

– Ты, Гриша, в антропологию не лезь. Антропология говорит нам, как пить, а психология – для чего. Объясню на пальцах: чтобы впаять вот такую метровую катушку с допуском миллиметр в Уренгое, в минус пятьдесят, нужен факт героизма. И героизм этот нуждается в каталитическом преобразовании, коим является флакон. Пробовали, варили катушки на трезвую – все равно брак. Что делать? Матюги, перекур, выпили, получилось. И это не теория, а федеральный закон природы.

Катушки – особая гордость Максимыча. Попросту говоря, катушка – это отрез трубы магистрального газопровода, который нужно с точностью до миллиметра сварить вместо поврежденного участка. Диаметр этого хозяйства – метр сорок. Катушки доверяют варить не каждому сварщику – придет комиссия с ультразвуковыми приборами, и за каждый наплыв или неровность премии лишат всю бригаду. Варить катушки – это вроде как мертвую петлю на самолете делать.

Максимыч насадил на Карла кусок колбасы и с вызовом съел. Взгляд его уперся в Костю. Он продолжил:

– Эти придурки с акцизами на водку не знают жизни. Это чмо в костюме, которому ты делаешь отопление, в часы своего досуга отбудет в Большой Театр или какой-нибудь клуб. Я спрошу тебя, Костя: а должен я, Степан Шахов, развиваться духовно? Я, который читал Кафку под одеялом, имею право расти, как личность? И как мне это делать, если зарплаты не хватит даже на бирку от театра? Алкоголь для меня – это средство общения, самопознания и духовного роста, а он, – Максимыч кивнул на меня, – пытается свести его к источнику углеводов.

Не люблю, когда обо мне вот так, в третьем лице. Это Максимыч проучает меня. Ладно, имеет право...

Хлоп, хлоп, хлоп. Бумсик пенился и лился через край. Колбаса заветрилась. Максимыч обвел нас торжественным взглядом. Сквозь густые усы просвечивали лоснящиеся губы. Я помнил, как быстро хмелеешь с этого бумсика.

– Если я, Степан Шахов, залудил после смены стакан, то для чего я это сделал? Я, человек с образованием, кстати? Чтобы напиться, как свинья, и проспаться до утра? Нет, я хочу окунуться в жизнь полную смыслов, которой я лишен в силу многофакторных перипетий. Я хочу с хорошими людьми поделиться тем, что в душе. Меня тоска давит на сухую, но я не лезу в петлю. Я живу уже шестой десяток и еще два десятка отутюжу, потому что вот эта жизнь, – Максимыч поднял стакан, – есть мой азимут. И я не одинок. В России два слоя реальности, и один из них пригоден для жизни избранной

кучке негодяев, паразитирующих на народных массах. Эти народные массы существуют там, где сама природа не ждала найти разумную жизнь. Наличие второй реальности – алкогольной – делает возможным цивилизацию здесь, на одной шестой части суши.

Костя выковырнул из-под стола пустую бутылку подсолнечного масла, посмотрел на просвет и накапал остатки на кусок черного хлеба. Жуя, он хмуро заметил:

– Максимыч, тебя послушать, водку в аптеке продавать надо. Ты тоже не обижайся, из института ты ушел, бизнес твой прогорел, газовики тебя поперли. Не вписался ты в эту жизнь. У Карла своего спроси – не вписался.

У меня подступило. Про Карла – это Костя зря. Молодой он еще, чтобы про Карла. Я с тревогой взглянул на Максимыча. Тот молча курил, и лицо его, зарозовевшее, светило через дымные разводы.

В 90-х, когда авиационный институт был на краю пропасти, Максимыч с компаньоном начал то, что называлось тогда модным словом бизнес: мешочничал, спекулировал видеоманитофонами, организовал алкогольный ларек. Правда, все без особого успеха. А потом появился на горизонте Анатолий Швец, через посредничество которого они купили партию алюминиевых кастрюль. Эти кастрюли они выгодно обменяли на швейцарские ножи. Продав ножи, в то время можно было купить даже «Мерседес».

После этого Швец пропал, кастрюли уехали за бугор, а но-

жи оказались подделкой из хрупкого сплава. Максимыч с горем пополам сбыл их под видом сувенирки и запил. Но первый демонстрационный экземпляр ножа, который Швец отдал Максимычу, был настоящим, с металлической ручкой и вечными лезвиями. Максимыч оставил его себе на память. Это и был Карл.

Анатолий Швец всплыл через несколько лет, стал предпринимателем, позже – депутатом, и о его былых проделках почти никто не вспоминал. Никто, кроме, может быть, Максимыча, который благодаря золотым своим рукам получил сертификаты и уехал с вахтовиками варить магистральные трубопроводы. На севере он проработал лет восемь, но и там не сложилось.

– Я, Костя, как пить-то начал, – миролюбиво заговорил он. – Вот сидишь дома, работы нет, денег нет, но главное – перспективы нет. Жена работает, дети учатся. Поговорить с кем? Не с кем. Друзья деловые. Нет им дела до безработного, так, деньжат подкинут. Времени у них мало – работают. Позвонишь, каля-маля, как дела, а он тебе – совещание. Или – ребенка забрать надо. Или еще какая эквилибристика. Никому ты не нужен. Встанешь в одиннадцать, выпьешь, поешь, в час – опять на боковую. Поспишь до четырех – дети возвращаются, там жена. День пролетел. Выпил, заснул. А как иначе? В петлю лезть?

Костя смотрел перед собой:

– Не знаю, как лучше. Я в те годы мелкий был. Но Швец

твой вон куда залез, а ты? Не вписался, значит.

– Залез, эпистолярно залез, – Максимыч налил Косте, тряхнул, передал и принялся за свой стакан. – Вот ты, Костя, начинаешь чуть-чуть соображать. Бумсик в тебе мысль будоражит. Вот он как залез? Он, сука такая, пить – не пил, но где чего уволочь – это всегда пожалуйста. Я же честный бизнес строил, я налоги платить собирался, я, если хочешь, кровные свои вкладывал. А он, сука такая, кредитов-перекредитов набрал, того с этим свел, навар забрал и выветрился. Вот это ты называешь «вписался»? И ты, Константин, приходишь к очередному выводу, что в России алкоголизм – это источник честности, или, если уточнить, ее обратная сторона.

Я хохотнул:

– Максимыч, ты тоже, ей богу... Ну, не обобщай. Честности...

Он хлопнул, выпил, отдышался, и на подбородке заблестела ямочка.

– Григорий, давай не будем редуцировать кислое к соленому, – он потряс в воздухе Карлом. – Если бы я воровал, как Швец, зачем мне пить? Вот сам подумай – зачем? Но я сознательно выбрал путь честности. Пока он там по куршавелям раскатывал, я катушки варил в минус пятьдесят семь, и как любой человек, живущий в рамках эмпирической реальности, вынужден анестизировать бытие.

– Ага, если бы не анестизировал – может, не турнули бы.

Получал бы сейчас сотку в месяц, – проворчал Костя. – Сварщики везде нужны.

Максимыч слил остатки водки. Голос его звучал далеко, как из той трубы на метр сорок, которую варил он в свои минус пятьдесят семь:

– Зажали. Встряхнули. Чокнулись. Учись, а то так и будешь чужим умом проживать, – брови его расползлись в добродушной улыбке. – Костя, Костя, опять ты гнешь свою изотерму. Да не турнули они меня – сам я ушел. Я ж один на всю бригаду катушку мог заварить. А ушел, потому что понял, что есть реальность и что есть азимут. Скучно мне, понимаешь, катушки варить. Смена – 16 часов, температура – минус шестьдесят два. Мне с вами, оппортунистами, теплее.

Костя встал, пошарил рукой по воздуху и сел обратно.

– Вот же, мать вашу... Ноги как от самогонки. Не идут. А голова ясная.

– Бумсик, – удовлетворенно кивнул Максимыч. – Этиловый спирт плюс волшебная сила пузырьков. Экспонента надвое. Ты садись, садись, колбаски скушай, – он схватил Костю за рукав. – Кто пьет – тот честный. Априори. Иначе зачем? Костя, молодой еще, мальчуган, – он ласково тянулся к Костиной белесой шевелюре. – Мы не прогнулись, понимаешь? Не сдрейфили. Накатило, пришла новая власть, мораль-амораль. А мы – старые. И ты старый. Нас такими вырубали, понимаешь? Тесаком рубили. По камню.

Костя уронил голову на руки.

– Мы не жалеем себя, чтобы сохранить для грядущих поколений то, что эти мрази верхолазные вытирают из народной памяти. Это наша с тобой миссия, Костя. Держись, Костя, мужик, – приговаривал Максимыч ласково.

А меня словно и нет с ними, сижу я, как тень отца Гамлета, ни на что не прохожий. И слова Максимыча звучат музыкой, только не для моих ушей, а если точнее, не для моего слоя реальности, как говорит Максимыч. На трезвую он, кстати, не такой добродушный, и все больше матом кроет, хотя дело свое знает на ять – этого не отнимешь.

Костя встал рывком, нашарил телогрейку, прижал к груди сбитую шапку и рванулся к двери. Шарф его свисал из-под рукава и мел по полу.

– Все. Ушел я.

Шваркнула дверь.

– Да, иди, обсос элитный, – проворчал Максимыч. – Сало свое забрал, хламидник.

Он развернулся ко мне и чеширская улыбка под усатым сводом обожгла меня, как прощение.

– Гриша, дорогой Гриша. Эпюра мысли, Гриша! – он поднял палец, желтый, с графитовым полумесяцем ногтя.

Максимыч обнял меня за шею и притянул.

– А вот теперь... Вот теперь мы выпьем. Хоппа!

На столе возникла бутылка, какой я не видывал. Голубоватое стекло с гравировкой и этикетка, точно отчеканенная из стали пластина.

– Глянь, Гриша – серебряной фильтрации. Вкус – как парное молоко, а? Эх, Грииша, – Максимыч снова притянул меня. – Сам видишь, как нас мало осталось – ты да я. Все, Гриша, нет более никого в обозримом парсеке, нету. Мы, твою мать, держаться должны друг друга, понимаешь? Давай-ка двадцать капель за счастье всех людей и твой миокард в отдельности.

Максимыч действовал на меня, как снотворное. Слова его качали меня в колыбели. Карл с насаженным куском колбасы тянулся в мою сторону.

– Нет, Степан Максимыч, – отстранился я и съезжился, задержал дыхание. – Нет, сердце у меня, пойми...

– Это ты пойми, – негромко пел Максимыч. – Сердце – потому что бросаешь резко. Я когда курить первый раз бросил, чуть не помер. Нельзя резко, Гриша. Мало нас. Постепенно надо. По чуть-чуть. По пятьдесят, а?

Стакан уже охлаждал руку, и я словно скатывался по горке, представляя эту смачную двухходовку, когда водка доведет голодный желудок до иступления, и тут же что-нибудь мясное растопит в животе очаг теплоты, и он пойдет выше, выше... А через минуту лицо начнет оттаивать и мысли станут воздушней...

– Фу-ты, нет, – отстранил я стакан, очнувшись. – Степан Максимович, обещал я... Не буду.

А может, и зря я ломаюсь. Эксперимент – экспериментом, а только атмосфера складывается удивительная, и если уж

на то пошло, в моей тамошней жизни сроду не было, чтобы вот так мирно сидеть за столом и говорить, что взбредет в голову.

Да что я, черт возьми, как пес дрессированный? И ежели мы занимаемся серьезной наукой, не может все вот так сходу получаться, да и незачем это. Эти легкие успехи только расслабляют. Не выпью я – они премии получают и в оборот меня пустят, в горячую точку какую-нибудь пошлют, а мне это зачем? Мне, может, хочется еще немного побыть лабораторной крысой подальше от этих вояк.

Стакан кружил вокруг меня, как балерина, и я думал о том, что Максимыч, и что он, может быть, единственным принимает меня полностью. Не садится на шею, не попрекает и не просит ничего, а наоборот, дает мне все, чем богат. Он дает мне душевное спокойствие, ту уверенность в бытие, которую я не испытывал никогда даже там, в своей настоящей лабораторной жизни у профессора Виноградова.

Я еще медлил, но знал, что Максимыч возьмет свое. Я созревал. Во рту пересохло, мозжило в висках, но это – до первой. Нарастал зуд, и если не сделать что-то прямо сейчас, этот зуд расчесет меня, раздерет изнутри.

Выпил. Водка скользнула мимо языка, как водица, оставив полынное послевкусие и спиртовой дух в носу. Я вдохнул через папиросу и размяк. Мысли, клубившиеся в голове, вытянулись в струну. Через дым папирос нежно двоился Максимыч. Я никому не должен и в реальности, о которой гово-

рил Максимыч, я становлюсь не рабом обстоятельств и поспешных обещаний, а свободным человеком. Я неуязвим.

– Воот, теплее? – приговаривал Максимыч, наливая поновой. – А у меня там еще стоит. Ты не думай. Мне перед этим чертом палить не хотелось... Коська-братан, навязался на наши сто пятьдесят...

– Максимыч, ты интеллект, – изрек я, пытаюсь успеть за удаляющимся пальцем. – Интеллект.

Палец летал перед носом, как мотылек. Максимыч что-то говорил. Мы чокались и пили, и не оставалось на языке даже горечи. Голова упала на стол, и лоб обожгло о шершавый рукав телогрейки.

Кто-то настойчиво толкал меня в плечо.

– Гриша, вставай, – широкое лицо Максимыча по-ленински щурилось и дышало колбасой. – Холодно. Пошли.

Я встал и механически оделся. Моторика меня никогда не подводила.

– Полгода стоят, – Максимыч пихнул чугунную батарею; та низко зазвенела. – Гриша, давай. Взялись, понесли.

Механически я ухватился за край батареи, и мы поволокли ее через пустой коридор к лестнице со сбитыми ступенями и наискосок через двор к сарайкам.

– А куда мы ее? – спросил я.

– На лом сдадим. Полгода стоят. Давно бы смонтировали, если нужны. А стоят – значит, не нужны. Крепись, немного осталось. Тяжелая, сука...

Я лежал лицом к стене, когда быстрый стук в дверь вывел меня из оцепенения, предвещавшего скорый сон. Я не ответил.

Дверь скрипнула, кто-то церемонно вытер ноги в прихожей коттеджа, прошагал по комнате и опустился на стул у меня за спиной.

– Алена поставит вам снотворное. Очень мягко действует, – сказал голос Виноградова. – Напрасно вы себя мучаете.

– Не надо снотворного.

– Признаться, не думал, что именно вас это так заденет.

Слова Виноградова показались обидными. Потому ли, что он считал меня задетым, или потому, что не допускал такой возможности.

– Вадим, оборонщики все понимают – это terra incognita, темная территория. Вашей карьере ничего не угрожает.

– Я и не сомневался. Я сам уйду.

Рука профессора легла на плечо:

– А вот это бросьте. Нельзя каждую неудачу принимать так близко к сердцу. Или у вас похмелье? – рассмеялся он.

«Тебе б такое похмелье», – подумал я.

– Да, начудили вы там с вашим Гришей. Батарею-то зачем украли? На кой черт вам дались эти батареи?

– Не батареи, а радиаторы, – буркнул я.

– Пусть будут радиаторы.

Я не поворачивался. Моя поза становилась вызывающей. Мне хотелось спровоцировать Виноградова, вывести его из себя.

– Да что с вами?! – он потянул меня за плечо. Рука у него была сухая, как пергамент. – Вы меня пугаете.

– А что тут непонятно? – развернулся я и сел на кровать, накинув халат.

Я чувствовал себя грязным. Этот алкаш, этот Гриша взял надо мной контроль, словно не было месяцев тренировок. Человек, телу которого причинили вред, может укрыться в мире фантазий, но я лишен даже такой возможности, потому что Гриша был уже там, внутри меня.

– Вы знаете, ваши субъективные переживания крайне важны для понимания ситуации, – осторожно начал Виноградов, и на секунду его подвижное лицо застыло. – Ну? Я прошу вас, очень прошу рассказать все, что вы чувствуете.

Я молчал.

– Мне кажется, – продолжил Виноградов, – что все это более чем нормально...

– Ерунда. Григорий Иванович нас всех сделал... И вас тоже. А радиаторы украли, чтобы на бухло заработать. Вот как-то так. А почему я на это согласился – не знаю.

Маленький, пропорциональный, словно человек в масштабе, Виноградов не мог долго сидеть на месте. Он подскочил и начал расхаживать по комнате, которая была ему

слишком тесной, сшибая стулья и двигая стол. Инстинктивно он прижимал к животу руку без кисти, словно оберегая от чужих взглядов.

– Я как-то говорил вам, что большую часть жизни человек ведет себя, как автомат, – говорил он. – Как робот. И Григорий Иванович – робот. И вы, и я тоже. Наше тело со всеми рефлексам, инстинктами и автоматизмами играет большую роль, чем сознание. Тело обманывает сознание, создавая иллюзию, будто приказы исходят от нас самих благодаря нашей воли, нашим желаниям. Но это не так. Помните эксперимент с томографом? Ваш мозг выбирал одну из двух фигур на 0,7 секунды раньше, чем вы осознавали ваш выбор. Фактически, тело делало выбор за вас, а потом подсовывало готовый ответ, который вы искренне считали своим... В жизни человека очень мало ситуаций, когда сознание берет полный контроль над происходящим.

– Но мне удавалось раньше. Они брали нужную карту, разве нет?

– Да, но волевое усилие для выбора нужной карты ничтожно. В этом нет моральной дилеммы. Любой человек может выбрать из колоды валета треф или даму пик. Но здесь вы столкнулись с подлинной мотивацией, которая укоренена в физиологии человека. Вы пытались лишить алкоголя тело человека, страдающего алкоголизмом. Григорий Иванович играл на своей территории, и вы напрасно так расстроились...

– По-вашему, мы безвольные скотины, которые живут иллюзией, будто что-то могут?

– В большинстве случаев – да. Мы зомби. Похожие на людей зомби, которые могут ходить во сне или машинально вести автомобиль. Ваша гипотеза, будто чужое тело – это танк, а вы в нем механик-водитель, не совсем верна. Относитесь к своим клиентам... как к детям, которых нужно заставить что-то сделать. Можно силой, но лучше – хитростью.

Я растянулся на кровати и стал смотреть в потолок. Мельтешение Виноградова раздражало.

– Знаете, Вадим, – продолжал он. – Обычный человек постоянно борется со своим телом, не осознавая этого. Приручить в себе зверя, обмануть его – вот задача не только для вас, но и для каждого из нас. Просто мы не понимаем этого так отчетливо, как вы сейчас.

Лицо Виноградова то возникало в поле зрения, то исчезало. Оно состояло словно из обрезков чужих лиц, красивых и безобразных, старых и молодых, и не будь оно столь живым, он казался бы уродливым.

– Есть еще кое-что, – буркнул я.

Профессор остановился, но хватило его ненадолго. В моей голове роились слова, но как только я ловил их, они звучали фальшиво.

– Да говорите уже, – не выдержал Виноградов. – Откуда в вас эта театральность?

Я вспоминал Гришу и Максимыча, Карла и запах подваль-

ной сырости. Мысли нарывали во мне, но не могли вырваться наружу.

– Этот Гриша казался мне моральным уродом, алкашкой...

Я не знал, что сказать дальше. Что мне понравилось быть Гришей? Это неправда. Тогда, во время погружения, я чувствовал себя человеком, оказавшимся в тесной пещере, который давит в себе ростки паники и стремится на свежий воздух.

Но было что-то еще. Было что-то глубоко личное, тоскливое и щекочущее.

– Знаете, Александр Иванович, я здесь как узник.

– Вы чувствуете одиночество?

– Иногда. В этом Грише при всех его слабостях было что-то... человеческое, что ли. У меня уже не получается презирать его. Я никогда не видел людей так, как видит он. Знаете, а может, это мы – моральные уроды? Может, это мы живем в другом измерении, не видя жизни, настоящей жизни? Меня пугает вот что: если завтра клиентом будем какой-нибудь нацист или маньяк, а я вернусь и скажу – я понимаю его и сочувствую?

– И вернетесь, и скажите! – рассвирепел вдруг Виноградов. – Потому что каждый человек всегда прав. Каждый. И даже маньяк.

– Александр Иванович, так бог знает до чего дойти можно! А это моя голова, понимаете, моя голова. Как мне жить

со всеми этими понятиями?

Виноградов смягчился:

– Вы знаете, это напоминает фрейдовский перенос, когда пациент проникается чувствами к психоаналитику. Нет, погодите, это, скорее, Стокгольмский синдром...

– Александр Иванович! Я не псих и невротиками не страдаю. Но этот Гриша со своим Максимычем говорят мне, что я жил не так. А я не хочу жить, как они. А может, и хочу. Я уже не знаю. Я подглядываю в замочные скважины, а теперь захотелось оказаться по ту сторону двери... Что вы на это скажете? Что за синдром такой?

Виноградов спрятал поглубже свой исследовательский азарт и заговорил спокойно, тем голосом, которым он убеждал военных. Шаг его стал размереннее.

– Вадим, вам дана уникальная возможность влезть в шкуру другого человека, видеть мир его глазам и оценивать события его умом. Это потрясающе. Это как первым слетать в космос, первым ступить на Марс. Вы Гагарин, Юрий Гагарин. Вы увидели Землю с высоты. Нет, не то... Вы посмотрели хороший фильм – относитесь к этому так. Да, хороший, вдумчивый фильм.

– Меня этот фильм совершенно сбил с толку.

– А разве хорошие фильмы не должны менять нас?

Я сел на диван и стал разбирать сваленные вещи. Отыскал брюки и быстро натянул. Заснуть уже не удастся.

– Мне нужно волноваться о том, куда вы собираетесь? –

спросил Виноградов.

– Нет. Но у меня есть вопрос: урежут ли премию за срыв эксперимента?

– Прекрасно, – оживился профессор. – Вам заплатят в полной мере. Я согласовал вопрос, Осин уже все подписал. Я вижу, вы возвращаетесь к прежней жизни.

В последних словах был сарказм.

– Да ну вас! – хлопнул я дверью.

Stoneface

Время чтения: 17 минут

#цивилизация #смысл_жизни

- И что это, по-твоему?
- Фундамент.
- Фундамент чего, блин?
- Да какая разница? Опоры это.
- Да ни хрена не опоры.

Пашка спорил с монтажником из соседней бригады по фамилии Желтоклюев.

Спорили все шесть месяцев вахты. От споров невозможно было скрыться ни на складе, ни в столовой, ни в бытовке. Опоры или сваи? Каркас или фундамент? Споры просачивались в любой разговор незаметно, как прорастают из ниоткуда сорняки.

И сейчас, в последний день на суданской земле, бригадные снова гадали, что же именно они строили в африканской пустыне. Среди версий назывались: укрепрайон, фундамент термоядерного реактора, парк ветряных электростанций, туристический аттракцион и много чего еще. У каждой версии были свои адепты, которые в небрежных тонах рассказывали, как в таком-то году строили уже нечто подобное где-нибудь в Ираке или Боливии.

Алексеич подсунул под локоть рюкзак, навалился на него боком, нашел точку равновесия и попытался вздремнуть в неудобном кресле суданского аэропорта Донгола. До посадки в самолет оставалось полтора часа.

– А то, что они разного диаметра, опоры твои, – молодой Пашка доказывал Желтоклюеву абсурдность версии о фундаменте для здания.

Ну да, какой же это фундамент, вяло думал Алексеич. Уровня-то нет. Стоят черт знает как. Не опоры, а частокол какой-то.

Пашка, когда лазил со своими отморозками в Припять, видел там заброшенную советскую радиолокационную станцию «Дуга», и теперь втемяшил себе, что и здесь, в Судане, они строили РЛС, только покрупнее. «Чтобы ракету прямо в Техасе видеть», – говорил он важно.

На изнанке закрытых век Алексеич увидел белый диск суданского солнца. Постепенно сквозь него проступило покрасневшее лицо спорщика-Пашки. Эти два пятна пропечатались на сетчатке Алексеича и за полгода осточертели до нервного зуда.

Алексеич незаметно улыбался. Через двадцать два часа он будет дома, на берегу реки Бердь, где сейчас минус восемь и низкая облачность. Дома он сможет вымыть потную шею, лечь в прохладную постель, провалиться в сон такой глубокий, что он забудет, наконец, и Пашку, и солнце, и самого себя.

Чего ему не хватало в Судане – это прохладных сибирских вечеров, которые даже в жаркий день приносят облегчение. В Судане ночи казались еще жарче, пот проедал кожу, песок был везде: в ботинках, в еде, на зубах. Кондиционер в бытовке рыдал конденсатом в два ручья, но с жарой не справлялся. Алексеич хронически недосыпал, стал раздражительным и резким, все чаще срывался на Пашке и других, пререкался с ними по делу и просто так.

Пашка, солнце, пустыня, песок, тракторы, тракторы, тракторы...

– ...и для чего такие сваи? – разбудил его крик Пашки. – Ты видел, какое там заглупление? А я видел. Я тебе говорю, что видел. Да ни черта это не сваи.

Алексеич приоткрыл глаза:

– Да заткнись ты уже, – сказал он Пашке негромко. – Не надоело спорить? Деньги получил? Не обманули? Так какого лешего ты заладил – сваи, не сваи. Ты мертвого поднимешь, ей богу!

– Потому что это для вояк, – ответил Пашка сквозь зубы.

– Ну и для вояк. А ты пацифист, что ли? – резко оборвал Алексеич.

– Да насрать мне, – огрызнулся Пашка.

Он пошел прочь по пустынному залу к углу с вывеской АТМ. Огромный, потный Пашка, с обгоревшими ушами и косолапой походкой.

Как и всех, Алексеича мучило любопытство. Но в свои

пятьдесят три года он уже не рассчитывал удивиться по-настоящему. До позавчерашнего дня его больше занимал вопрос оплаты, потому что обещания, которыми его заманили в это пекло, казались неправдоподобно щедрыми.

Когда на счет упало более 30 тысяч долларов – самая крупная сумма, которую Алексеич получал за раз – он впал в благодушие, успокоился и тоже задался вопросом, что же они строили. Потеряв вечер в спорах с Пашкой, он решил, что с него довольно.

Алексеичу хотелось в Бердск, хотелось сжать в руке мокрый снег, а потом провести холодной ладонью по шее. Хотелось увидеть брата, забрать у него веселого сеттера Карабина, а в выходные поехать с ним рыбачить на Обь, если лед уже встал.

Полгода они строили то, что не было похоже ни на здание, ни на забор, ни на военный объект. Полгода они разгружали бетонные блоки, круглые или шестиугольные, и возводили огромные колонны высотой с пятиэтажные дома. Колонны росли одна за другой, образуя подобие леса. Сверху их скопления напоминали рощи круглых очертаний. Со стороны пустыни их можно было принять за колоннаду греческих портиков или мираж.

Масштаб стройки поражал Алексеича, хотя он и был потомственным строителем, чей отец помнил героическое рождение БАМа и Красноярской ГЭС. Но здесь было что-то иное, нечеловеческое, потустороннее, невысказанное даже для

рекордсменов Союза.

Доходили слухи, что стройка раскинулась на сотни километров до Египта, Ливии, даже Алжира, и косвенным подтверждением тому были вереницы грузовиков, которые появлялись из пылевых вихрей. Грузовики везли каменные блоки от портов Красного моря вглубь континента; везли днем и ночью. Водители-арабы вытирали потные лбы полотенцами, и в закатном свете их костлявые фигуры казались мрачными духами пустыни.

Столбы, что строила бригада Алексеича, пропорциями напоминали стволы дубов. Строили их из бетонных оковалков или гранитных блоков нужной формы, круглой или многоугольной. На стыках блоков делался специальный замок, что придавало колоннам изрядную прочность.

– Пахнет вечностью, – изрек как-то необразованный работага, глядя на колоннаду, черневшую на фоне заката. Косая решетка теней вытягивалась наискосок.

– Памятник себе делаем, – сказал кто-то.

– Могильный, – проворчал тогда Алексеич, которого мучили боли в спине.

Строили по чертежам. Место, форма и высота каждой колонны были размечены с высокой точностью, которую контролировали приезжие инспекторы. Этой точности способствовала налаженная доставка стройматериалов. Кто и зачем дирижировал этим невероятно сложным строительством, Алексеич не знал, но в душе ненавидел его, потому что

гадкая слаженность процессов почти исключила простои. Шесть месяцев они работали по шестьдесят часов в неделю, дышали пылью и меняли здоровье на деньги.

На второй месяц работы Алексеич сорвал спину и три дня провел в госпитале маленького городка Абри, откуда его погнала обратно вонь, исторгаемая Нилом, и жара, от которой весь город жил, не выходя из состояния комы.

За время этой странной вахты Алексеич обнаружил навязчивое желание даже самых недалеких людей понимать смысл своей работы. Весь сброд, что слетелся на эту стройку века со всего мира, слетелся лишь ради жирной оплаты труда. Здесь собрались золотоискатели нашего времени, нашедшие свое Эльдorado; здесь собрались те, кто мог строить тюрьму, ядерное хранилище или военные укрепления, не задавая вопросов, но...

Но было бы проще не задавать вопросы, если бы самим приказом не задавать их тебе намекнули на смысл происходящего. Здесь же не было никаких приказов и никаких смыслов. Люди и техника перемещали камни и складывали из них столбы. В этом не было ничего угрожающего, о чем следовало бы молчать, повинаясь генетической памяти.

Спрашивать не запрещалось. Рабочие спрашивали у бригадиров, бригадиры задавали вопросы начальникам, те адресовали их еще выше, вопросы уходили в заоблачную высь и никогда не возвращались обратно. Споры разгорались с новой силой.

– Скоро электричество будут из солнца добывать, – убеждал всех очередной оратор. – На опорах поставят зеркала, сфокусируют их в одной точке и получают температуру 7000 градусов. Как в ядерном реакторе. У меня сын физтех закончил. Он знает.

Алексеич объяснял эту любопытствующую тревогу обычным страхом людей быть обманутыми. Ведь если ты не видишь смысла своей работы, очень сложно избавиться от впечатление, что она ничего не стоит. А значит, тебе вряд ли за нее заплатят.

Может ли бессмысленная деятельность тысяч людей приводить к осмысленному результату? Армия научила Алексеича, что иногда может, но пехоте от этого не легче, потому что пехота редко понимает замыслы полководцев и умирает в неведении.

Иногда ему казалось, что безумная стройка не имела смысла сама по себе, и была лишь инъекцией в экономики арабских стран Северной Африки. Своеобразный способ западного мира откупиться от проблемных регионов, а может быть, занять низкоквалифицированных рабочих всех стран, чтобы отвлечь их от мыслей о революциях.

Тогда и сам он, Алексеич, был объектом этого масштабного подкупа. И пусть, думал он. Деньги не пахнут.



Самолет оторвался от единственной взлетной полосы аэропорта Донгола и взял курс на северо-запад. Стреловидная тень бежала по ухабистой равнине, волнуясь, как флаг.

Скоро Алексеич увидел колонны, те колонны, что они строили эти полгода, а до них строил кто-то еще. Непроизвольно взгляд искал среди моря каменных столбов те, что воздвигла их бригада, но все они казались одинаковыми. Самолет набирал высоту, и новые полчища колонн выступали из-за горизонта, батальон за батальоном. Иногда между ними мелькала россыпь бытовок или кучи мусора, но и они казались одинаковыми, обезличенными.

Алексеич заметил, что по краю стройки колонны были тоньше, но чем глубже в каменные рощи, тем мощнее были составляющие их колонны.

Пятна образовывали какой-то рисунок.

– Гляди, – Алексеич отстранился от иллюминатора, чтобы Пашка мог видеть раскинувшийся под ними ландшафт.

Тень самолета и отдельные колонны стали неразличимы. Они сливались друг с другом, превратившись в потоки желтого, светло-серого, красноватого узора, уходящего в дымку горизонта.

– Ни хрена себе, – Пашка словно впервые понял, что значат сотни километров стройки, о которых говорили на ло-

манном английском водители грузовиков.

– Радиолокационная станция? – усмехнулся Алексеич. – Сваи?

– Я сразу говорил, что не сваи, – ошетинился Пашка.

Пассажир, сидевший через проход справа от них, вдруг наклонился в сторону Пашки и сказал разборчиво:

– Это Stoneface. Сто-ун-фейс.

Алексеич с Пашкой глянули на него. Пассажир был молод, хорошо одет, лицо его окаймляла аккуратная борода, развязанный галстук и поднятый воротник придавали ему отдаленное сходство с принцем. Он был улыбчив и смотрел чуть свысока.

Stoneface. Слово, которым молодой обозначил их стройку, не вызвало у Алексеича никаких ассоциаций. Полгода они провели без интернета и газет, их единственной связью с внешним миром были водители большегрузов и арабское телевидение.

– Stoneface, – повторил этот третий как бы сам себе, глядя мимо Пашки в иллюминатор. – Вы строили его?

– Строили, – сухо ответил Пашка.

– Великолепно, – сказал незнакомец. – Но вряд ли вы понимали, что строите. Общая картина видна только из космоса.

Он протянул Пашке журнал, на обложке которого было это слово – Stoneface.

– И че это? – спросил Пашка брезгливо.

– Дословно – каменное лицо. Вот, – молодой перелистнул несколько страниц. – Взгляните. Это фото со спутника. Сделано две недели назад.

На развороте журнала была фотография северной части африканского континента, где к западу от Нила светилось бледно-желтое лицо ребенка двух или трех лет, с ямочками на щеках, с белобрысой челкой, пухлого, сощуренного, с ехидной улыбкой на губах и маленьким, еле заметным носом.

Эта гигантская татуировка у изголовья африканского континента состояла из мельчайших пикселей, которыми и были те самые колонны, что строили вахтовики. Бригада Алексеича работала где-то в районе подбородка.

Лицо ребенка, размером с половину континента...

– На кой хрен это нужно? – бормотал Пашка, разглядывая снимок. – Что это вообще?

Незнакомец перелистнул страницу:

– Читайте.

Пашка читал полусшепотом.

«Три года назад группа миллиардеров во главе с канадским банкиром Аланом Кьюсаком начала амбициозный проект по строительству в пустыне Сахара каменного сада, очертания которого из космоса напоминают лицо ребенка...»

«Лицо скопировано с семейной фотографии трехлетнего внука миллиардера, Питера Джексона-Крига...»

«Инициатор проекта Алан Кьюсак признался, что идея

построить гигантский портрет в пустыне пришла ему во сне в виде откровения...»

«Общая стоимость проекта, который находится в завершающей стадии, оценивается в 325 миллиардов долларов...»

«Около 15 миллионов рабочих и специалистов из 130 стран мира приняли участие в этой грандиозной стройке...»

«Мы запускаем в космос „Вояджеры“ с посланиями инопланетным цивилизациям, но это не принесет плодов, – заявил Алан Кьюсок во время презентации проекта журналистам. – У нас есть лучший способ рассказать Вселенной о своем существовании – свет. Миллиарды лет спустя, когда Земля перестанет существовать, фотонный слепок нашей планеты будет нестись через пространство. Рано или поздно кто-то примет этот сигнал. Но это будет не просто свет еще одной планеты на окраине Млечного Пути. Это будет зашифрованное послание. Лицо человека, моего внука Питера, расскажет им, что мы здесь были, что мы существовали, что мы умели радоваться и ценили жизнь...»

«Эксцентричный миллиардер уверен, что гибель человечества произойдет очень скоро, поэтому предлагает уже сейчас задуматься, что мы оставим после себя...»

– Вот дебил, – процедил Пашка. – Сколько там написано? 325 миллиардов... Ты прикинь, Аксеич. Это ж сколько всего можно построить?

– И сколько всего? – улыбнулся молодой, что сидел спра-

ва.

«Надменная скотина», – подумал Алексеич, с любопытством разглядывая пашкиного оппонента.

– Да дофига всего, – ответил Пашка авторитетно. – Бабки немереные. Бюджет страны какой-нибудь. Сколько больниц, сколько дорог... Там каждая колонна стоит, как детский сад у нас на районе.

– С той лишь поправкой, что уже через пару сотен лет ничего из перечисленного не останется, – сказал незнакомец равнодушно. – А Stoneface будет стоять.

– И смысл? – Пашка рассвирепел. – Ну и будет стоять? А дальше что? Я понимаю, когда делают для людей здесь и сейчас. Зачем гадать о том, что будет через сто лет?

Незнакомец пожал плечами.

– Может быть, он не гадал. Вы когда-нибудь думали о том, что средний человек знает о египетской цивилизации в основном то, что они умели строить пирамиды? А сколько было цивилизаций, о которых мы не знаем ничего? Они не оставили следа, и, возможно, с точки зрения высшего суда прожили бессмысленный цикл истории.

– Это чушь какая-то, – отмахнулся Пашка. – Люди еще покажут. Через сто лет будет все не так, как сейчас. Искусственный интеллект будет и виртуальная реальность. Никому не придет в голову ставить каменные истуканы. Это язычество. Навоз, короче.

Незнакомец усмехнулся и достал ноутбук.

– Может быть, – сказал он, чему-то улыбаясь. – Но я не переоцениваю возможности человечества. Будет еще несколько циклов подъема и спада, но потом... Нам просто некуда деваться. Мы заперты здесь. Вы слышали, что до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавры, 80 тысяч лет полета? Это на порядок больше, чем существует наша цивилизация. Мы ужасно одиноки в этом космосе. Оставить след: вот наша единственная миссия.

– Ерунда, – фыркнул Пашка. – Примитивщина. У бога на нас другие планы.

– Откуда вы знаете его планы? Пока вы строили Stoneface, вы не знали даже планов вашего работодателя. Вы видели фрагменты и думали что это... кстати, что вы думали?

– Что это радиолокационная станция, он думал, – зевнул Алексеич.

– Да при чем тут это? – возмутился Пашка. – Ты сам-то что думал?

– Это неважно, – сказал незнакомец примирительным тоном. – Никто не догадывался. Я тоже не знал. Иногда общая картина видна лишь с очень большой высоты. А мы с вами, боюсь, у самого дна.

Все замолчали. Незнакомец уткнулся в ноутбук, и пальцы его забегали по клавиатуре. Пашка смотрел на разворот журнала. Алексеич уперся лбом в прохладный иллюминатор, за которым белые облака все плотнее укрывали рисунок. Алексеичу казалось, он различает щеки ребенка и его озор-

ную улыбку, а, может быть, он лишь хотел увидеть их в потоках цветовой лавы, которая спекла и растворила результаты их полугодового труда.

И нет больше меня, есть лишь лава, лава, лава...

Видение исчезло. Самолет летел над айсбергами белых туч.

– А, прикинь, Пашка, – сказал Алексеич негромко. – А прикинь, Пашка, если весь наш смысл состоит лишь в том, чтобы построить вот такую херновину и послать в космос сигнал, что мы когда-то жили? И ничего большего. И все наши страдания, интриги, обиды... Это наше вечное «я», «я», «я»... Ничто. Дым из трубы. А смысл лишь в том, чтобы доказать возможность жизни в нашей галактике?

– Да ну, – буркнул Пашка. – Я не верю в эту чушь.

– Вспыхнем, сгорим и не останется следа, кроме этого сгустка фотонов, за который, может быть, кто-то скажет нам спасибо, – проговорил Алексеич.

– И что мне толку с того, что через пять миллиардов лет мне кто-то скажет спасибо?

Алексеич не слушал.

– Получается, – говорил он, – я приложил руку к главному проекту человечества и теперь могу спать спокойно.

– Ага, – ухмыльнулся Пашка. – Ты еще бабки отдай на благотворительность. Все равно ведь все помрем.

– Бабки не отдам, – Алексеич привалился к иллюминатору и закрыл глаза. – Но межпозвоночную грыжу с этих пор

считаю не напрасной.

– Болван, – буркнул Пашка и тоже уснул.

Долгожитель

Время чтения: 35 минут

#бессмертие

Мне девяносто восемь лет. Девяносто восемь... Почти век на Земле. На Земле, которая начинает уставать от моего присутствия, и все безжалостней трет меня в своих жерновах. Хочется меньше двигаться. Сны мало отличаются от яви.

Упавший с ночного столика флакон доставляет хлопот. Теперь мне нужно сесть на краешек кровати, опереться на трость, почти навалиться на нее, потом соскочить на одно колено, медленно клонясь книзу, пока не увижу негодяя, пока не смогу дотянуться до него. Хороший план. Трудный. Нужно действовать поэтапно.

Боль стреляет через колено по спине. Скрипят половицы. Гремит по полу трость. Беглец пойман и обезврежен, но в пояснице теперь кол.

Я стаскиваю тапочки по одному и ложусь, вытягиваясь около Нинель. От нее пахнет лавандой. Она сонно поворачивает голову:

– Что?

– Спина.

– Намажься. У меня сегодня тоже было...

– У тебя не может быть. Ты молодая.

Она улыбается сухими, почти белыми губами:

– Всего семь лет разницы.

– Целых семь лет.

Девяносто восемь... Трудно дряхлеть. Но эта тяжесть в ногах и голове, эта дряхлость, это чертово долголетие – это то, к чему я стремился, стараясь выжить и продлить свой путь здесь. Я оставил позади военную службу, экспедиции в Арктику и две пандемии. Молодым остается тот, кто умирает до срока, но мне повезло остаться. Значит, я получил сполна то, что хотел. Что хотел... Получил... Арктика... Снег метет волнами... Волны образуют барханы... Желтые, огромные барханы... По ним идут длинные тени верблюдов... Их ноги бесконечны, как на картинах Сальвадора Дали...

Резкий стук вырвал меня из полудремы. По потолку бежали красные всполохи, словно махала крылами кровавая птица. Под окнами коттеджа слышались встревоженные голоса. Снова застучали.

– Что это? – Нинель приподняла голову.

– Сигнализация сработала, – ответил я, начиная вставать. – Приехали пожарные.

Я спускался долго. Все это время на крыльце топтались тяжелые ноги.

– Полиция, – услышал я голос, не привыкший к отказам. – Открывайте!

И еще один голос, даже более властный, чем первый:

– Буди, буди его.

Снова стук.

– Я не могу перелететь, – ворчал я себе под нос и все же спешил, как мог. – Черти полуночные.

Наконец я отпер. Глаза полицейского прятались под козырьком форменной кепки. Лишь на секунду я увидел его взгляд, быстрый, как фотовспышка. Неприятные обесцвеченные глаза, привыкшие видеть в каждом подозреваемого.

– Капитан Разумов, полиция города Москва, – представился человек, небрежно демонстрируя электронное удостоверение. – Игорь Васильевич Лунгин?

Он листал что-то на своем планшете. Я кивнул. Он не заметил кивка и повысил голос:

– Вы Лунгин?

– Да.

– Кто-то еще в доме?

– Моя супруга. Что случилось?

– Вам необходимо проехать с нами. Здесь недалеко.

– Я не одет.

– Это неважно.

– Я жене скажу.

– Наш сотрудник сообщит ей.

Меня подхватили с двух сторон под локти и повели по тропинке к калитке. Их несоразмерный шаг причинял мне боль. Оба полицейских – и Разумов, и его начальник с животом невероятных размеров – были в каком-то диком,

неясном возбуждении; я словно был добычей, которая будит в них жажду крови. Я ощущал их ликование.

За воротами стола машина, вроде полицейского микроавтобуса. Мне помогли забраться. Внутри сидело еще трое или четверо. Дверь захлопнулась, погас свет. В черных окнах я видел отражение своего изношенного лица, на котором отпечатались несколько слоев морщин, один поверх другого.

Мы ехали недолго – может быть, минуты три. Дверь с грохотом распахнулась, и в первые секунды я ослеп и оглох. Мощные прожекторы засвечивали все вокруг. Нестерпимо галдели люди. Работал громкоговоритель.

«Назад... Отойти от заграждения... Я сказал, назад!» – хрипел раздраженный голос.

Когда глаза мои привыкли к свету, я увидел берег нашей речки, которая разделяла поселок на две части. Через речку, выгибая спину, был перекинут пешеходный мост с ажурными перилами. Мост и берег около него были огорожены, и односельчане напирали на ограды. Мальчишки пытались просочиться между взрослых.

«Назад, – настырничал громкоговоритель. – Я сказал, назад!».

У самой воды стояли несколько полицейских машин и один большой грузовик, на котором я прочел – «Водоканал». Справа по другую сторону я заметил гражданский автомобиль в ярко-оранжевой раскраске. Его двери были открыты. Около него сновали два человека в форме.

Мои спутники взяли меня под локти и повели за ограждение. Кто-то поздоровался со мной. Дежурный полицейский сдвинул ограду, давая пройти. Мы поднялись на мост.

Нас ждал военный полковник с круглым лицом и насмешливыми глазами, которые обшарили меня с ног до головы.

– Лунгин? – спросил полковник.

– Так точно, – ответил сопровождавший меня человек с огромным пузом (его звания я не разглядел).

– Вязников, – представился неразборчиво полковник, приглашая меня к перилам. Я подошел и пару минут просто стоял, переводя дух. От реки веяло прохладой.

«Какая хорошая ночь», – подумал я. – «Как я от всего устал».

В узком горле под мостом вода разгонялась и вилась, как брошенный платок. Вдоль дорожки, проложенной одним из прожекторов, танцевали остроглазые блики. Я не видел ничего необычного.

– Водолазы на точке? Связь есть? – услышал я за спиной голос Вязникова.

– Что там? – спросил я.

– Погасить фонарь, – крикнул полковник. – Водолазам скажите подсветить.

Через минуту прожектор погас, и почти сразу включился другой, подводный. Под нами образовалось световое пятно, в котором неестественно дрожала зеленая вода.

Сначала я не увидел ничего, кроме мутной пелены, ко-

торая беспокойно двигалась под нами стаей мелкого гнуса. Глубина в этом месте была метра два или два с половиной, и летом мальчишки любили прыгать с перил моста в воду, выплывая ниже по течению, где берега реки были не столь круты.

И вдруг в освещенной зоне что-то появилось. Сначала оно трепыхалось на границе пятна, а затем само пятно сместилось – видимо, водолаз поправил прожектор – и мы увидели крупное тело, которое припадочно билось, то приближаясь к поверхности, то уходя вглубь.

В первые минуты мне показалось, что отвратительная белесая рыбина с отрубленных хвостом умирает в агонии, не в силах соскочить с рыболовного крючка.

Нет, это не рыбина. Это человек. Это человек. В свете прожектора мелькали лохмотья. Руки его, почему-то прижатые к телу, иногда совершали широкий взмах. Он вырывался на поверхность, но что-то резко дергало его назад. В зеленой глубине он совершал мучительный танец, снова и снова рвался к поверхности.

Мне показалось, что я увидел его лицо. Оно появилось на короткий миг, как-то случайно преломив лучи и став видимым, но этот миг отпечатался в моей памяти. Лицо было совершенно бледным, с зеленоватым отливом. Круглая печать мучений. Это была восковая, отекая маска, и она кричала, кричала, не издавая ни звука.

– Омерзительно, – оттолкнулся я от перил.

Полковник, кажется, был доволен произведенным на меня эффектом.

– Что скажете? – спросил он.

– Что сказать? Понятия не имею.

– А вы подумайте.

Голос полковника кольнул неприятной иронией, словно он поймал меня на лжи. Я рассердился:

– И думать нечего! Я могу лишь повторить – я не знаю, что это за тварь

– Ладно, – хмыкнул он. – Пройдите с нашими сотрудниками.

Меня сопроводили в микроавтобус под хищные взгляды соседей. Я сел и откинулся на спинку кресла, стараясь унять поясницу. Смертельно захотелось в туалет..

Человек с огромным животом сел рядом, плотоядно сопя. Он что-то предвкушал. Мягкое бедро неприятно нагрело мой бок. В этот раз я разглядел полковничьи погоны.

– Местные пошли на ночную рыбалку и заметили эту штуку, – сказал он. – Вызвали полицию. Наши специалисты просмотрели записи с видеокамер в этом районе и вот что обнаружили.

Он протянул мне планшет. На экране была наша улица, чуть изогнутая и тонущая в клубах зелени. Дорога рябила брусчаткой. Кто-то сидел вдалеке на оградке забора, изредка шевеля головой. С минуту ничего не происходило. Мелькали секунды хронометра. Начало темнеть. Было около поло-

вины десятого.

В кадре появилась машина, небольшая и, как мне показались, раскрашенная в ярко-оранжевый цвет прокатной конторы. Она быстро приблизилась и остановилась наискосок от моего дома, небрежно заскочив углом на тротуар. Из нее вышел человек. Торопливо, словно с дурным намерением, он шагал к моему дому, но на полпути развернулся и снова сел в машину. Там он находился минут десять. Полковник переместил ползунок в нужное место, пропустив фрагмент: теперь человек шел к моей двери уже размеренно, даже нехотя, словно сомневаясь. Включился вид с другой камеры. Он подошел к самому дому, постоял несколько секунд, вернулся к автомобилю, замер, точно оцепенел, потом прыгнул внутрь и уехал.

Полковник снова щелкнул по экрану, переключив вид.

– Вот видите, – он скользил пальцем по экрану. – Вот он. Смотрите внимательно.

На экране я увидел часть поселка, выходящую к реке. Камера проследила за появившимся автомобилем. В правом углу экрана показался фрагмент моста.

Машина выехала на берег, описала дугу и остановилась. Человек вышел из нее и стянул с заднего сиденья что-то очень тяжелое, едва удерживая в руках. Двери так и остались открытыми. Некоторое время он возился с предметом, затем встал и зашел на мост, сгибаясь под тяжестью ноши, которая оттягивала его руки вниз. Камера, до поры до времени сле-

довавшая за ним, достигла крайнего положения, и человек выпал из кадра, продолжая, видимо, подниматься на мост.

– А потом этот чудак прыгнул, – констатировал полковник. – Видите круги?

По воде расходились концентрические волны.

– Он привязал себе на шею тяжеленную болванку и махнул с моста. Но при этом не захлебнулся. Как, по-вашему, такое возможно?

Я ощутил пытливый взгляд на своем виске. Я молчал.

– Игорь Васильевич, в первую очередь нас интересует, с чем мы имеем дело. Что вы знаете об этом человеке? – спросил полковник мягче.

– Ничего. Я никого не ждал, – я отсел от него и развернулся вполоборота. – Послушайте, я действительно не против помочь вам, но я не знаю ни этого человека, ни его машину.

– Хорошо, – с подозрительной готовностью кивнул полковник. – Тогда взгляните на его фото.

Он снова передал мне планшет. Несколько секунд я разглядывал три фотографии, вырезанные из видеозаписи, неразборчивые и мелкие, но достаточные, чтобы зародить во мне подозрение.

– Та-ак, – протянул полковник. – По лицу вижу, что узнали.

Я кивнул:

– Могу предположить, что это Заяц, – сказал я. – Капитан Заяц. Нет, майор. Да. Майор. Заяц – это фамилия. Я не видел

его бог знает сколько.

Полковник что-то быстро набирал на планшете.

– Заяц Александр Робертович? Вы служили с ним, так?

– Да, это было очень давно. Мы были вместе...

– Стоп, исповедь подождет, – остановил полковник. –

На данном этапе меня интересует одно: представляет ли он угрозу для наших людей?

– Понятия не имею.

– А все же?

– Я бы соблюдал осторожность.

Полковник помолчал.

– Ясно, – сказал он и громко откашлялся, после чего вполголоса произнес в рацию: – Пост один, прием, пост один. Извлекаем сеть, слышите? Сетью. Не контактировать. О выполнении доложить. Действуйте.

* * *

Через две недели я получил разрешение навестить спасенного уопленника. Я приехал в одну из московский клиник, подведомственных министерству обороны, где в западном крыле инфекционного отделения меня нарядили в невероятный скафандр как для высадки на Марс. Это заняло много времени: костюм не был рассчитан на таких безнадежных стариков. Сложнее всего оказалось заправить в него негнущиеся колени.

– Есть подозрение на вирусы? – спросил я, прижимая ларингофон к горлу.

– Такой порядок, – ответила сопровождавшая меня врач. – Пойдемте.

Мы прошли четыре двери, а между ними – два шлюза с усиленной вентиляцией.

– Здорово его замуровали, – сказал я.

– Приказ главного, – ответила врач коротко. В огромном костюме она двигалась, как медвежонок.

Я не попевал за ней. В конце концов, она позволила мне опереться на свое плечо. Чтобы отвлечься от боли в суставах, я стал считать свои шумные выдохи, от которых запотевал визор. На десяти я сбился и начал заново.

Палата без окон была залита синеватым светом. В центре находилась кровать, закрытая по периметру прозрачной пленкой. Врач – ее звали Людмила – откинула полог, и я прошел внутрь.

Тикал счетчик пульса. Александр Заяц лежал на кушетке. Он был без одежды, накрытый сверху бледно-синей больничной простыней.

Он выглядел ужасно. Огромный бесформенный слизняк. Разбух, как батон хлеба, оставленный в воде. Его кожа стала бледной и прозрачной; морщины на лице, шее и открытых бедрах имели неестественную для человека форму, словно кожа слезала с костей под собственной тяжестью. Синими молниями тянулись сосуды. Тонкие волосы казались влаж-

ными, редкими и липли ко лбу.

Когда мы зашли, Заяц шевельнулся и раздвинул отекавшие веки. Мне показалось, он улыбнулся и сделал слабый жест рукой.

– Здравствуйте, товарищ майор, – сказал я в ларингофон, и собственный голос показался громким карканьем.

– Кто здесь? – спросил он слабо.

– Моя фамилия Лунгин. Вы меня вряд ли помните.

– А, Лунгин... Помню. Зачем нарядился? Брезгаешь?

– Приказ главного.

Он взгляделся в мое лицо через стеклянное забрало и вдруг разразился клокочущим смехом:

– Да ты совсем развалина, Лунгин!

– Что поделать, – ответил я спокойно. – Мне девяносто восемь.

Заяц посерьезнел. Глаза его прикрылись. Одними губами он произнес.

– Я бы тебя не узнал.

Он тихо сопел. Его безобразное широкое лицо походило на силиконовую маску.

– Скоро сдохнешь, Лунгин. Скоро сдохнешь. Я знаю. Я много вас похоронил. Что, Лунгин, страшно?

– Глядя на вас, товарищ майор, нет.

Он приоткрыл глаза:

– Напрасно хамишь.

Я помолчал. Счетчик пульса тикал чаще прежнего.

– Так что, действительно сработало? – спросил я.

– Еще как. Ты не смотри на меня... Это вода проклятая...

Вода... Они меня подсушат. Ты еще увидишь, какой я. Приходи... – говорил он как в бреду.

Я услышал в наушниках голос Людмилы:

– Игорь Васильевич, пора на выход. Время.

– До свиданья, товарищ майор. Может быть, теперь уже и прощайте.

– Ты погоди, – он сделал попытку приподняться. – Ты не исчезай. Слышишь? Ты зайди. Через неделю. Слышишь, Лунгин? Я приказываю. Поговорить надо.

– Наговоритесь еще, – сказала Людмила, уводя меня из целлофанового периметра, где лежал похожий на медузу бывший майор Советской Армии Александр Заяц.

* * *

Через три дня я сидел в кабинете полковника Вязникова, куда меня не без помпы на дорогом служебном автомобиле доставили его подчиненные.

Мне указали место во главе стола, за которым сидело несколько человек в форме. Худой господин в штатском расположился у меня за спиной на диване. Около полковника стояла портативная камера, направленная мне в лицо. Моргал красный огонек. Все молчали, и слышались лишь удары сухих пальцев по планшетам.

– Расскажите нам, – полковник Вязников взял меня на мушку своего подозрительного взгляда, – когда вы познакомились с Александром Робертовичем Зайцем?

– Я знаю майора с армии. Мы вместе служили в Мали.

– А мы знаем, что вы его знаете именно с тех пор, – с некоторым самодовольством произнес Вязников.

– Тогда, может быть, мне не рассказывать?

– Отчего же? Это все, что мы пока знаем, – хмыкнул Вязников. – Послушайте, не надо щетиниться. Мы же договорились – ничего из рассказанного вами не может быть использовано против вас за давностью лет. С этим выродком уже работают медики и генетики, все эта ученая братия... Но я думаю, вы знаете побольше их.

– Возможно.

– Сколько вам тогда было лет?

– Двадцать два. Я служил тогда. Мы были на задании. Меня прикрепили к майору Зайцу. С нами было еще несколько бойцов и второй офицер – его фамилии я не помню.

– Капитан Коновалов, – подсказал Вязников.

– Возможно. Мы выехали в район Сахель на двух автомобилях УАЗ, затем разделились. Мы с майором организовали наблюдательный пункт на небольшом взгорье.

– За чем вы наблюдали?

– За домом. Скорее, это была временная постройка. Что-то вроде нескольких контейнеров и навеса. Место находилось в сотне километров на северо-запад от Мопти. Там

практически пустыня, недалеко от границей с Сахарой. Там постоянные пыльные бури. Мы лежали в укрытии несколько дней, сделав навес из брезента. Жара была невыносимая. Я тогда почти сломался.

– Вам как-то объяснили ваше задание?

– Нет, я ничего не знал. Майор сказал, что застрелит меня, если я попытаюсь уйти. Но я не думал о побеге. Бежать там некуда. На третьи сутки у дома остановилась машина. Из нее вышло двое. Через десять минут мы ворвались в дом, захватили хозяина и его помощницу или служанку. Больше там никого не было. Он не сопротивлялся.

– Вы знали человека, которого захватили?

– Я узнал его имя потом. Его звали Джеймс Т. Бриммс.

– Откуда у вас эта информация?

– Я увидел его фотографию в газете и провел собственное расследование. Он был сотрудником военной лаборатории в США. Он украл разработки и скрылся – его так и не нашли. Вернее, его не нашли свои... Он выглядел очень неприятно. У него было что-то с лицом, ожоги и нервный тик. Он говорил по-английски.

– Вы понимали, о чем речь?

– Да. Майор требовал отдать ему документацию. Бриммс не соглашался. Тогда майор застрелил помощницу.

– О чем шла речь?

– Я тогда не знал. Думаю, что речь шла о препарате, который позволял реабилитировать военных, получивших тя-

желые ранения. Бриммс работал над ним в США. Это была вакцина...

– Вакцина бессмертия? – отчетливо произнес Вязников, и стук пальцев по планшетам прекратился. Все смотрели на меня.

– Я не знаю. Скорее, стимулятор выработки определенных белков и комплекс антиоксидантов, который продлевал фазу активной жизни на несколько десятков лет. Бриммс отказывался передать документацию майору. У них возник спор. Бриммс говорил, что человечество не готово к внезапному продлению жизни. Что это приведет к ожесточенной борьбе за ресурсы и мировой войне. Он считал, что вакцина попадет в руки элит, дав им слишком большую власть.

– И тогда майор застрелил Джеймса Бриммса?

– Нет, они заключили сделку. Вместо документов Бриммс дал нам шесть ампул. Он сказал, что так мы сможем помочь себе и еще нескольким людям. Близким или друзьям. Он сказал, что одна ампула продлевает жизнь на 100—120 лет. Он просил отпустить его.

– И вы ушли?

– Майор вколол одну ампулу Бриммсу. Он боялся отравиться. А потом... я не знаю в точности, что было потом. Майор увел Бриммса. Там был еще один контейнер, возможно, лаборатория... Они ушли туда. Я слышал выстрелы. Потом мы сожгли контейнеры и машину Бриммса.

– Вы пытались помешать майору?

– Он сказал, что таков приказ. Я был в его подчинении.

– Вас не смутило, что вы имели дело с гражданским лицом?

– Это был приказ.

– Почему ампулы не подействовали на вас?

– Потому что он забрал их и велел мне молчать.

– Вы подчинились?

– Мне было двадцать два. Я понятия не имел, что делать.

Майор был одержим. Он сказал, что это секретное задание и за разглашение меня ждет трибунал. Потом его перевели на другую базу, по-моему, в Анголу.

– И больше вы не виделись?

– Встречались один раз лет через сорок. Это было на конференции в Берлине. Он оказался достаточно известным геофизиком. Внешне он практически не изменился.

– Вы поняли причину этого?

– Я догадывался. Я думал об этом много лет, но... Мне бы все равно не поверили. У меня не было доказательств.

* * *

Людмила ждала, пока я одолею последние ступеньки. В ушах стучало. С утра болела голова.

– Черт возьми... – проворчал я. – Почему в больнице нет лифта?

– Старое здание. Его не разрешают переделывать.

– А я старый человек, – буркнул я. – И меня тоже не переделывать. Так что терпите мое занудство, Людочка.

От длительного подъема затылок заболел, как нарыв. Раньше я связывал мигрени с беспокойным сном, погодой или стрессами. Но у мигреней не было причин, они просто навещали меня по своему усмотрению, и постепенно я научился не слишком обращать на них внимание.

– Вам нехорошо? – спросила врач.

– Нормально, нормально, – ответил я, глотая на ходу таблетку.

Людмила достала пластиковую карточку, бесшумно расползлись автоматические двери. За ним был длинный коридор.

– В двести седьмую, – сказал Людмила. – До конца и направо.

У дальней двери стоял человек халате, небрежно накинутом на плечи поверх костюма.

– А как же скафандр? – спросил я, вспоминая про костюм химзащиты, в которой меня нарядили в прошлый раз.

– Уже не обязательно, – Люда протянула мне маску. – Наденьте вот это.

Я пристроил марлевую повязку на лице, Людмила помогла затянуть ее на затылке.

Молчаливый охранник открыл нам дверь и столь же тщательно запер, оставшись в коридоре.

Майор Заяц лежал на широкой кровати. Комната больше

походила на гостиничный номер. В углу стоял тумба с букетом свежих цветов. Работал телевизор. Из окна открывался вид на больничный двор. Через приоткрытую раму доносился мягкий шум города.

– Я вас оставлю, – шепнула Людмила и постучала в дверь.

Я заметил, что торс и шею майора держит какое-то ортопедическое приспособление.

– Садись, Лунгин, – кивнул он на кресло возле себя. – Опять тебя разодели. Я не прокаженный.

Я снял маску. Он внимательно посмотрел мне на меня:

– Какая же ты развалина, Лунгин.

Майор выглядел значительно лучше, чем в прошлый раз. Лицо его обрело цвет и словно чуть-чуть загорело. Яростная щетина обнесла щеки. Обозначились скулы. Глаза смотрели надменно.

Он мял в руке резиновый мячик, и крупная ладонь его по-прежнему излучала силу. Я невольно оглядел свои кряжистые толстые пальцы с разбухшими суставами, рябые от желто-розовых пятен. А ведь когда-то я казался свежим и полным жизни на фоне высушенного солнцем майора. Когда-то моя тонкая рука казалась соломиной в сравнении с лапой ширококостного Зайца. Сколько же ему было? Наверное, лет сорок или сорок пять.

– Как действует вакцина? – спросил я. – Что вы почувствовали?

– Не надо выкать, – рассмеялся майор. – Брось, Лунгин,

не те времена. Кстати, как твое отчество?

– Васильевич.

– Игорь Васильевич. Хорошо. Действует она, Игорь Васильевич, замечательно, но тебе это уже не поможет, потому что единственный человек в мире, который знал ее рецептуру, сгорел на работе. Помнишь наш костерок, а?

Он расхохотался.

– Я совершенно не это имел в виду, – спокойно заметил я. – Я благодарен нашей медицине хотя бы за то, что мы с супругой дожили до этих лет.

– Медицина, – фыркнул майор, и вдруг смягчился, о чем-то вспомнив. – Действует она замечательно. Знаешь, Игорь Васильевич, как будто хорошо выспался. Как будто после хорошего массажа. Истома. Спокойствие. Уверенность. Это же чудо, понимаешь? Иммуитет от рака. Раны заживают как на собаке. Кости не ломит. Зрение стопроцентное. Замечательно действует.

– Вы счастливый человек, – сказал я. – Стало быть, оно того стоило.

Что-то не понравилось ему в моей интонации.

– Слушай, Лунгин, – расвирепел майор. – Если ты как сучка сдал меня военной прокуратуре, это твое дело, и я тебя не сужу. Но и ты не суди меня. Не суди, понял? Вместе жгли.

– Вместе, – согласился я. – Сейчас бы я всадил в вас пулю.

– Еще не поздно, – рассмеялся он зло.

– Что же вас потянуло прыгать в воду при такой благопо-

лучной жизни? Я слышал, вы стали профессором какого-то университета?

– Лунгин, у меня пять высших. Я профессор трех университетов. Я обучился игре на скрипке. Говорю на английском, испанском и китайском. Мастер спорта по метанию ядра. Три десятка детей.

– Насыщенная жизнь, – заметил я. – Так зачем ядро на шею и в воду?

– Это долгая история.

– Совесть замучила?

– Совесть, – фыркнул Заяц. – Совесть... Знаешь, если любой поступок разделить на вечность, он превращается в ноль. В ноль.

Заяц помолчал. Потом начал рассказывать как бы нехотя, сквозь зубы. Первые годы он валял дурака. Уволился из армии по липовым документам и жил себе в удовольствие. Работал преподавателем в ПТУ. Читал лекции по военной подготовке студентам. Подрабатывал в автосервисе. Пил. Опустился.

Ночевал зимой на улице и не болел. Пил месяцами. Что такое год, два, три жизни, если ты украл у судьбы лишнюю сотню-две лет? Время растянулось до бесконечности. Хотелось подстегнуть его, подогнать, чтобы узнать, что же там дальше? Поэтому пил, ждал, наслаждался.

Обычному человеку этого не понять. Вернее, так бывает в детстве, когда 20 лет кажутся зрелостью, а 40 уже старо-

стью. Пульс есть в каждой секунде, каждая минута – это приключение, каждый год – это целая жизнь. Смерть кажется такой далекой, что вряд ли она существует.

Чудесное состояние – не спешить. Кризисы среднего возраста и прочая ерунда возникают от спешки. Хочется успеть. Хочется оставить след. Человеку крайне важно оставить след. Хоть какой-нибудь. Хоть самый маленький. А когда смотришь на свою жизнь и понимаешь, что ничего толком не сделал, а теперь уже не сделаешь – вот тогда и наступает кризис. Но Заяц имел право не спешить.

Жизнь майора была простой, даже незавидной, понятной только ему. Лист календаря отрывался со светлым чувством. Прочь, прочь эти дни – придут другие. Быстрее, быстрее! Лети, время, лети – и чем быстрее летишь, тем больше разница между бессмертным и остальными.

Пил неистово. Похмелья почти не бывало. Раз в неделю перерывчик, чтобы печень отдохнула, и снова. Беседы задушевные под водку. Драки. Врачи удивлялись живучести майора.

Иногда месяцами ничего не делал. В деньгах не нуждался – деньги сами находили его.

Потом стало не по себе. Засосало безделье. Долго плыл по течению. Восемнадцать лет прошло. Нестарение майора становилось подозрительным. Уже шутили: Сашку время не берет.

Стал себя раскачивать. Тяжело было. Женился во второй

раз (первую жену бросил после возвращения из армии). Поступил в университет на специальность «Биология». Один раз остался на второй год, но не сдался. Потом на еще одну специальность заочно устроился – математика. Дело шло не быстро, но разве в быстроте смысл?

Потом увлекся геофизикой и климатологией. Понравилось. Стал в экспедиции ездить. Камчатка. Байкал. Шпицберген. Один раз пожилой коллега сказал: эх, последний раз здоровье позволяет в такую даль поехать! А майор только улыбнулся.

Сами собой стали регалии приходить. Приглашали лекции читать. Кафедру возглавил. Профессором стал. Потом получил три года тюрьмы за некрасивую историю со студенткой, через два года освобожден. В тюрьме начал много читать. Когда вышел – снова занялся наукой.

Женат был много раз. От идеи жениться раз и навсегда отказался на третьей попытке. Жены старели – он их менял.

– Знаешь, Лунгин, человеческая жизнь – как перевернутая парабола. Взлет, вершина, падение... А я вечно на вершине. Поэтому от других я брал только лучшие годы. Тебе этого не понять: вы, смертные, боитесь падать. Вам легче падать вместе. А я не могу упасть, понимаешь? Я их отпускал. Так всем легче.

Те, с кем он когда-то начинал, старели и умирали. А он продолжал ездить по миру и торопил время. Время уносило осколки прошлого. Время стало единственным свидетелем.

Перед глазами – метель из лиц. Люди стали расходным материалом. Люди – это топливо. Он научился не привязываться.

– А потом, Лунгин, что-то случилось, – мрачно проговорил майор. – Все время хотелось чего-то нового, какой-то остроты, вызова, провокации. Знаешь, я много повидал. Я был преступником. Я был героем. Разбогател одно время страшно. Перечитал библиотеку Ленина. Я людей видел столько, что на жизнь трех президентов хватит. Лунгин, я воспользовался даром. Я жил. Но жил я, пока жизнь была загадкой. А потом я что-то понял. Я понял что-то, и загадка пропала. И чтобы я не делал – я стал ходить по кругу. Помнишь, как в пустыне: идешь, идешь, и вдруг знакомый камень... Черт! Заблудился ты, значит. Или пустыня твоя – не пустыня, а вольер, и некуда в ней больше идти. Только по кругу. А идти-то все равно надо. И с людьми ладить надо. А знаешь, Лунгин, сколько в мире похожих людей? Разных людей мало, а похожих – сколько угодно. Все люди похожи. И страны похожи. И ссоры все из-за одного и того же. Нет в мире величия. Все мелкотня, тлен, склоки.

Это не скука, говорил майор. Это что-то большее. Это такое огромное, что когда оно навалится, такое отчаяние берет...

– Я думал стать человеком космоса, человеком Вселенной. Наблюдать за развитием и смертью цивилизаций. Увеличить масштаб зрения. Стать богом. Историю изучал, по-

литику, технологии. Но все это повторяется из века в век, из века в век. Это все бусины на старой леске.

Он помолчал и вдруг с жаром заговорил:

– Знаешь, Лунгин, что движет человеком? Человеком движет новизна. Никто не чувствует мир полнее, чем ребенок, впервые оказавшийся на улице сам, на своих двоих, свободный идти и исследовать. Вот когда она первый раз вдыхает в себя эти запахи, когда прикасается к миру, когда видит первый раз небо – вот тогда он получает самое полное знание. И все остальное – это хождение по кругу. И круг этот становится все меньше и меньше, пока не затянется у тебя на горле тугой петлей.

Майор заговорил о смерти. Смерть, которая так пугает человека, на самом деле прекрасна. Люди хотят вечных вещей и вечных явлений, но они не понимают, что вечным могут быть также боль, отчаяние и пустота. Смерть – это спасение от этих вечностей.

– Сколько раз ты встаешь помочиться за ночь, Лунгин? Ты стар. Ты живешь среди боли. И ты чувствуешь конец. Но это заставляет тебя наслаждаться даже тем малым, что у тебя осталось. Ты это понимаешь, рядовой?

Все дело в масштабе, кипятился майор. Масштаб человеческой жизни делает ее осмысленной. Пятеро детей майора погибли, трое умерли от старости. Тихо скончались где-то, когда он был им уже не нужен. Он был с ними несоразмерен. Они уже не узнавали отца в человеке, который годится им

В СЫНОВЬЯ.

В юности люди глупы и безрассудны. В старости немощны. Есть лишь считанные годы, когда можно оставить след. А потом сказать – с меня хватит. Но каково это – быть всегда на переднем крае? Всегда чувствовать это жжение, не видя его конца? Когда пьянство не позволяет забыться, потому что ты слишком хорошо представляешь день отрезвления? Потому что ты черпал из этого колодца столько раз, что колодец пересох.

Смерть – это гарантия, что с нас не спросят больше, чем мы можем дать. Еще тридцать-сорок лет и спрашивать будет не с кого. Смерть – это возвращение туда, откуда мы пришли до того, как родились.

Может быть во Вселенной есть вечные существа. Или будут. Но человек – это вспышка, и все красота жизни – в мгновениях, которые невозможно повторить, растянуть, сохранить. Человек должен понимать свою конечность, и только тогда он по-настоящему живет.

Человек живет своим масштабом пространства и времени. Он можно хотеть вечной жизни и огромных замков, но чтобы быть счастливым, ему достаточно одной секунды и одной комнаты. И количество этих секунд на одну человеческую жизнь ограничено, и сколько бы мы не длили жизнь, мы не продлеваем счастья.

– Многие вещи осмыслены только в первый раз. Нельзя два раза потерять девственность, – рассуждал майор. –

Нельзя дважды приехать в Лондон в первый раз. Нельзя вернуть ощущение красок и запахов, какими ты воспринимал их в детстве. А без этого... А без этого получается странная штука: ты, такой образованный и опытный, становишься нужен этому миру больше, чем мир нужен тебе. Ты становишься его цепным псом, и чтобы не сойти с ума, наполняешь свою жизнь новой полезностью, но с каждой попыткой все меньше веришь самому себе. А потом все, тупик, тупик...

Румянец проступил на щеках майора. Я смотрел на него и любовался невероятной чистотой его лица, которому редкие морщины лишь придавали выразительности. Жизнь кипела в нем еще больше, чем прежде. Он был силен и красив, и я представил, как влюбляются в него неопытные особы лет двадцати пяти. Непонятное им пренебрежение к жизни придает ему особый шарм.

– А еще, Лунгин, перестал я ощущать себя собой, – продолжал майор. – Ты меня поймешь. Ты старый. Ты тоже перестал. Не чувствуешь вкуса, не чувствуешь радости, не чувствуешь триумфов. Ребенок в нас умирает вне зависимости от того, сколько мы живем. Мне ничего не нужно, понимаешь?

Он помолчал.

– Вот, хотел тебе это рассказать тогда, у твоего дома. Больше никому. А потом думал пойти и утопиться. Даже железку нашел отличную – затвор танковый. Раритетная вещь.

– Почему не зашли?

– Не знаю. Бессмысленно это все.

Глаза его лихорадочно заблестели.

– Я пытался повеситься, да сняли быстро, – говорил он. – Потом травился – не взяло. Думаю, на дне полежу часок-другой, подумаю, а там и помру. А видишь, как вышло.

– Кому вы вкололи оставшиеся ампулы? – спросил я.

– А никому. Все себе. Решил – зачем мне кто-то еще? Вот представь, вколол бы я своей тогдашней, Алене. А потом бы разлюбил. Куда ее? Зачем? Это личное дело каждого. Я свой выбор сделал и не жалею, – он помолчал. – Сеттер у меня был английский, красавец. Хотел ему вогнать одну... Да тоже не стал. Зачем мне столетний сеттер?

– Так вы что же, теперь стали бессмертным?

– Нет, – его глаза заблестели. – Меня можно убить. Просто живучий стал, как те землеройки... Ну слышал? Есть такие твари, которые не стареют. Знаешь, Лунгин, почему Бриммс поселился в Африке? Ему нужна была особая кислота, которая есть в теле тамошних подземных крыс, которые живут в десять раз дольше обычного. Он их там препарировал, ферменты какие-то выделял... Но убить можно любого. И меня убьешь ты, – резко закончил он.

– Я?

– За все нужно платить, Лунгин. Ты не меньше меня виноват. Помнишь, как жгли американца? Помнишь? Про это ты тоже рассказал? – он притянул меня поближе за шею. – Скоро меня выпустят под подписку, и я твою семью на куски

изрублю. Веришь, что изрублю?

Я попытался высвободиться, но майор крепко держал меня своей лапой, причиняя боль. В висках забил набат.

– Так что кончай меня. Я тебя научу. Чтобы никаких случайностей.

– Я не буду, – дернулся я.

– Будешь. Куда ты денешься. Посадят тебя, знаю... Плевать. Сколько тебе годков-то осталось? Такая развалина условным сроком отделается. Скажешь, действовал в состоянии аффекта. Мне вообще-то плевать, что ты скажешь. Это приказ, Лунгин!

– Нет. Велико будет одолжение.

Я сбросил руку майора и встал так резко, что потемнело в глазах. И вдруг что-то изменилось в лице майора, оплыли его мужественный скулы и заблестели глаза.

Майор дернулся, повернулся набок, сполз с койки и вдруг цепко обхватил мою ногу:

– Игорь, Игорь, – заговорил он. – Не бросай. Ты просто помоги мне. Я научу. Найми человека. Умоляю тебя, найми. Я тебя обеспечу. У меня есть деньги. Лунгин, пойми, в этом гребанном государстве нет смертной казни. Есть только пожизненное заключение. Ты понимаешь, что это значит в моем случае? Меня же подопытным кроликом сделают. В меня же иголки будут тыкать вечно, вечно, понимаешь?

Я отдернул ногу. Майор лежал, скорчившись у койки, и через прорехи больничного халата виднелись крепкие его

бедро с отметинами уколов.

– Пстой! – кричал он. – Я тебе не сказал. Одна ампула осталась. Я не потратил ее. Одна ампула. Только тебе скажу. Подумай. Не хочешь колоть – продай. Ты знаешь ее цену. Состояние! Сыну отдашь! Внукам!

– Да пошел ты, майор, – сказал я, шаркая к двери. – Расхлебывай сам.

Я постучал.

– Рядовой Лунгин, ты что?.. – хрипел майор. – Лунгин! За невыполнение приказа расстрел на месте! Лунгин, ко мне!

Охранник быстро вошел и нажал кнопку у кровати. Прибежали две медсестры и доктор. Майору вкололи что-то в бедро, и он затих. Его поместили на койку. Я услышал его сонную речь:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.